

The background of the cover is a dark, atmospheric illustration. In the center, a young man with blonde hair and a headband sits on a stone ledge. He is wearing a dark, sleeveless tunic and boots. He holds a large, ornate sword upright in his right hand. To his left and right stand two tall, armored figures in full plate armor, each holding a sword. A red banner is draped over the central figure. In the foreground, a glowing, ethereal green dragon or dragon-like creature is coiled around the man's feet. The overall color palette is dark with highlights of red, green, and blue.

# УБИТЬ НЕКРОМАНТА

18+

## МАКС ДАЛИН

ОН — ТЁМНЫЙ ВЛАДЫКА.  
И ОН РАССКАЖЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ САМ.

**Макс Далин**

# **Убить некроманта**

Серия «New adult. Магические миры»

Серия «Мир Королей», книга 1

*indd предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=66732714](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66732714)*

*ISBN 978-5-04-181169-3*

## **Аннотация**

Он – некромант, взошедший на престол. Тиран, ненавидимый собственным народом. Тёмный владыка, заключивший сделку с тварями из преисподней. Коварный интриган и захватчик чужих земель.

Он убил отца и брата, чтобы получить трон. Он командует армией мертвецов. Ему служат призраки и вампиры, которых он поит кровью своих врагов. Он извращенец и содомит, в чьей душе нет места ни жалости, ни любви.

Так о нём говорят. Но сколько в этом правды? Что движет тёмным владыкой на самом деле?

Он – Дольф, король Междугорья. И теперь он расскажет историю своей жизни сам.

# Макс Далин

## Убить некроманта

© М. Далин, текст, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

\* \* \*

*– В очередь, сукины дети! В очередь!..  
М. Булгаков, «Собачье сердце»*



Способности к некромантии, говорят, похожи на музыкальный слух. Пожалуй.

Некоторые неистово хотят быть певцами и музыкантами, зовут учителей, платят им по золотому в час, тратят уйму времени и море сил, чтобы выжать из лютни или флейты хоть сколько-нибудь гармоничный звук, – и без толку. Терзание чужих ушей. А их лакей напеваает, перетирая тарелки, и прохожие за окном останавливаются послушать. Дар свыше.

Ничего не поделаешь.

С некромантией примерно так же. Некоторые вылезают из кожи, запираются в башнях, исходят на нет, заучивают наизусть целые тома, предлагают душу, а в результате получают припахивающий серой дымок из жиденькой пентаграммы. Чихнул – и нет его. А меня этому никто не учил, просто Дар, и всё. Не такой изящный, как музыкальная одарённость, но это уж чем богаты, тем и рады.

Я – интуитивный некромант, сколько себя помню. Дивное качество для отпрыска королевской фамилии, как подумаешь...

Родители что-то такое с самого начала подозревали, я полагаю. Ребёнком я был... и в младенчестве не очаровывал личиком, мягко говоря.

Вот, к примеру. По мнению святых отцов, чёрные родинки – клеймо Тех Самых Сил. Очень может быть. Такая родинка у меня есть, под носом. Этакая роковая мушка. У других людей такие родинки выглядят очень миленько. Прида-

ют лицу некий особый шарм. И, как правило, не вызывают желания протыкать их раскалённой иглой на предмет проверки на магическую злокачественность. Но не в моём случае.

Не те у меня черты лица. Мою проверяли. Пришли к неутешительным выводам.

Не ошиблись. Спасибо, что не удушили в колыбели. Добрые у меня были родители и блюдушие традиции. Как можно пролить кровь королевского чада, даже если она проклятая? Абсолютно невозможно, они и не пролили. Не пожалели, правда, а не посмели, но мне и того хватило.

Моё скромное везение.

Правда, не могу похвастаться жаркой родительской любовью. Но сердцу не прикажешь.

Они ещё долго выясняли, откуда оно вылезло. Ведь наследственное проклятие! Очень неприятно сознавать, что кто-то из предков того... но из летописей-то не выкинешь. Нашли предка в седьмом колене. Пращур остался в истории под именем Чёрный Хорн, правил всего-то полтора года – чахотка сожгла. Видимо, развернуться не успел. Но, скорее, не посмел. Уединение любил. Любой бы любил, с таким выдающимся лицом. От одного взгляда на портрет брала оторопь: в правом глазу – три зрачка. Не считая всяких прочих мелочей.

Но, в общем, проклятый предок ничем особенно ужасным себя не проявил. Скорее, наоборот: пытался изобразить доб-

рого государя. Видимо, у него это вышло. Так что счастливого ему пребывания в эдемских садах: будь у него характер потвёрже – никакое везение бы меня не спасло. А так – решили, что, быть может, и я буду изображать что-то благонравное и благолепное и меня можно будет терпеть.

Ошиблись. Бывает.



Я рано расцвёл.

Мне ещё семи лет не исполнилось, когда я спровадил к праотцам своего гувернёра. Когда он десятый раз врезал мне линейкой по пальцам. Просто одним сильным желанием сделать так, чтобы его не было. Первый случай всплеска Дара, бессознательный ещё... но желание, похоже, оказалось очень уж сильным.

Нестерпимым.

Но когда я смотрел, как он корчится, как у него глаза вылезают из орбит и всё такое – я не наслаждался, нет, не верьте слухам. Я принял к сведению. И отец принял к сведению. Во всяком случае, сечь меня поостерёгся, а ведь хотел до смерти, по глазам было видно.

В смысле – хотел до смерти отлупить до смерти. Но счёл, что себе дороже. Ха, мне это понравилось. Интересно, много бы нашлось таких, кому бы не понравилось?

Через год всё моё семейство меня... скажем так, опасаясь,

лось. И дельно. Я же экспериментировать начал. Вот только никогда не проверял Дар на кошках, ничего против кошек не имею. Мухи, пауки – да, это было, я их не люблю. Потом – маменькина отвратительная моська: камеристкам пальцы в кровь кусала, а маменька изволила смеяться. Как итоговый опыт – папенькин камер-лакей. Я всегда совмещал приятное с полезным, а очистить мир от этой слащавой твари, стукачей на всё живое, было и приятно, и полезно сразу.

Правда, потом за меня взялись всерьёз, так что опыты пришлось бросить... на людях, по крайней мере. А на будущее я решил пользоваться Даром только по важным поводам. Тогда ещё мне казалось, что он быстро иссякает, долго восстанавливается, а хотелось всегда быть в боевой готовности. Но тема вообще очень заинтересовала – стал читать запоем. Папенькин библиотекарь не хотел меня впускать в ту залу, где хранились книги о некромантии и о чёрной магии... я его канарейку прикончил и пообещал, что с ним то же самое сделаю. Впустил, старый пень, хоть и наябедничал отцу.

Я иллюзий не питаю. Я рос маленьким безобразным гадёнышем. Злым, а пуще злопамятным, подлым. Но – умным. Я читал и наблюдал, читал и наблюдал. И всё, что прочитывал или видел, принимал к сведению.

Я много видел. Мой папенька-король не знал о своём дворе того, что уже знал я. Кто подличает за сладенький кусок, а за глаза поливает грязью, кто ворует, кто продаётся – я ра-

но начал понимать. Папенька не понимал; ему такие углублённости ни к чему. Папенька был обожаемый монарх. Гуго Милосердный – так его в народе окрестили.

Гуго Старый Идиот, я бы сказал. Он жил по заповедям, мой батюшка. Истово веровал, что врагов надобно прощать, родовой рыцарский кодекс блюсти, народ должен благоденствовать, а король – жить в развлечениях и роскоши. Ну да.

Его обворовывали все кому не лень, а ему и в голову не приходило проверять своих верных вассалов: вассалы же им восхищались. Он свалил всю свою работу на казначея и премьеря, сам охотился и отплясывал на балах. Междугорье было в долгу как в шелку; на границах вечно происходили стычки. Соседи обещали военную помощь и надували, зато присылали подарки вроде пары белых единорогов, тварей милых, но не стоящих и эскадрона драгун. Единороги, говорят, счастье приносят – ну, может быть, но не эти. В очередной локальной войнушке с государем Перелесья батюшка потерял провинцию, прослезился и сказал: «На всё божья воля».

Плебс жил впроголодь; пуд муки стоил ползолотого. Зато если батюшка проезжал по столице, он всегда оделял нищих. Щедро. Грошей по пять, по крайней мере. И голодные мужики рыдали от умиления.

Святой Орден за батюшку молился. Ещё бы. Патриархи ходили в шелку и парче, драли с прихожан сколько хотели и давали королю советы. А он им жаловал земли. Благодать божья... некромантов сапогами в угол запинали, можно ска-



зять, истребили совсем. Ибо от лукавого. Не к месту в благочестивом государстве. На меня святые отцы надели серебряный ошейник с тремя печатями во имя Вернейшего Слова Господня и запаяли, чтобы я не мог убить своим Даром человека. Ну-ну. Сожгли Ульриха-Травника под овации толпы. А он, кроме безопасных приёмов общения с демонами, открыл снадобье от чахотки. Но кому это интересно?

Косились на меня: последняя ты проклятая тварь в Междугорье, только потому и жив, что принц... И на мордах была написана надежда, что я особенно не заживусь. Нечего пятнать государев герб.

А я взял и в детстве не подох. Горячку подцепил – все уже готовились порадоваться, приличный ребёнок бы непременно помер, а я как-то снова выкрутился. Ну, плюнули на меня пока. Но я, конечно, был даже более опальным, чем бывают опальные принцы.

Вообще непонятно, за что небеса мной наказали идеальную королевскую чету. Видимо, за грехи предков.

Батюшка так любил матушку... Понятно за что: она подходила ему редкостно. Такая же, как и он сам, восторженная дама с рыцарской романтикой в головке. Этикет, танцы, кодекс. Всё как по канону полагается. Выезжают, бывало, на охоту или в загородный замок – загляденье, а не пара. Он – такой большой, статный, бородатый, она – такая беленькая, розовенькая, нежная. В сияющих коронах, в шелках, в бриллиантах. Бросают милостыню. Лошади лоснятся, штандарты

лоснятся, морды у свиты лоснятся... Красотища! Идеальная семья. Святые отцы во время проповедей их прихожанам в пример ставили, когда говорили о нерушимости брачных уз.

Моего старшего брата, чудесного Людвига, батюшка обо-жал... всей нежной душой. И матушка любила. Братец все-гда был на людях, а я – всегда по углам. Он – с мечом, а я – с заплесневелой книжкой. У него золотые кудри, львиная стать и голубые глаза. У меня бледная рожа, крючковатый нос и одно плечо выше другого. Он – истинный рыцарь, а у меня... Дар...

Он был, что называется, отважный, чудесный Людвиг. И, что называется, с сильным характером. Чуть что не по нему – лупил кулаками по столу и по тем, кто не увернулся, орал так, что витражи трескались. Настоящий мужской характер, все умилялись и восхищались.

Я-то ни то и ни сё. Я молчал. Ясно: подлая тварь, себе на уме.

Ему папенька дарил оружие, лошадей и всякую другую всячину. На меня смотрел очень выразительно: сразу ясно, что дико хочет высечь, но боится, что мой ошейник не сра-ботает. Сами посудите, мог ли я хоть намекнуть ему, что ду-маю о его дворе.

Впрочем, я ж был не дурак. Я даже не пытался.

Так и жили. Старые, как сейчас говорят, добрые време-на...



Демона я впервые вызвал в ночь, когда мне исполнилось тринадцать. Хорошая была ночь, все знаки сошлись: нумерология, парад планет... Убивать я не мог из-за ошейника этого дурацкого – это да, тогда ещё не мог, силёнок не хватало сломать защиту Святого Слова... но вот пообщаться с Теми Самыми Силами мог, оказывается.

От них меня не прикрыли. Никому в голову не пришло, что у ребёночка храбрости хватит. А хватило: я как раз отличный трактат об этом прочёл и рвался попробовать. Может, будь я постарше и поумнее, и не посмел бы – но уж в тринадцать-то мне море было по колено. Я ни с кем об этом не распространялся, но считал себя великим человеком. Великим некромантом – и в скобках великим королём. Никак не меньше.

Все, помню, спали. Камергер мой после заката в мои покои отродясь не ходил – брезговал, а может, и боялся. Дежурный лакей крепко поддал со своим приятелем, дрыхли оба. Так что я наслаждался полным одиночеством. Хорошо так, луна светит, тихо, никто не мешает. Хотя, вообще говоря, мне нечасто мешали, чем бы я ни занимался. Мои покои к числу лучших во дворце не относились. Эдакий уединённый закуток в одном из флигелей. Окнами милое жилище выходит на конюшни, вечно там сыро и темно, даже в солнечную погоду, а под ногами гуляют сквозняки и мыши. То-

пить вечно забывали, свечей давали ровно столько, чтоб в полной темноте не сидел – я огарки собирал или крал, если получалось. Приют, видите ли, отшельника – зачем проклятому свет? Обойдётся... Ну и, опять же, может, простужусь и подохну наконец. Мало ли, повезёт.

Но, если начистоту, меня такое положение устраивало. Правда, я мёрз с сентября по май и не мог по полчаса доораться до слуг, зато никто не лез в мои дела – и слава Богу.

Я пентаграмму ещё только разметил, – сердце аж в горло выскакивало, как волновался, – а Дар из меня прямо потёк. Рисую, помню, угольком на паркете, а линии под моими пальцами вспыхивают синим. Только дорисовал – как оно пошло само собой: память у меня на Слова отличная и реакция отменная, я гада выпустил ровно настолько, чтоб поговорить можно было, а окончательный выход в наш мир загородил.

Те Самые, я слышал, неопытными некромантами иногда закусывали. Не мой случай. Я всегда рассчитывал, даже в детстве. И всегда перестраховывался.

Даже двойную линию защиты сделал. И сработало.

Красивый вышел гад... красивый. Сейчас, как вспоминаю своего первого, такая тихая печаль находит... вроде грусти по старому другу. Если часто видишь существ из Сумерек – привыкаешь, уже не то, а вот в первый раз...

Я знаю, большинство людей, когда Тех Самых видят, в обморок грохаются или непроизвольно писаются, но это про-

сто потому, что люди до судорог боятся стихии. Неподвластной силы. Те Самые – это и есть стихия в чистом виде. По-моему, тут не бояться, тут любоваться надо. Такая у него была броня дымящаяся, багровая, мерцающая... рога – как два золотых клинка, из глаз – острое сияние, кусочки огня стекают по железной маске, как слёзы, на пол падают, гаснут... Красиво.

Люблю стихию. Свободу, силу – грозу, метель, ураган... Тех Самых на заре туманной юности тоже любил истово... пока кое-что не понял. Но это уже гораздо позже.

Гад, похоже, сообразил, что грохотать в моих покоях нельзя. К чему союзу свидетели? Он и не грохотал. Он прошелестел – как вот, бывает, январской ночью ледяная крошка шелестит по насту от ветра. Холодный звук, опасный. Тёмный.

– Изъяви свою волю, юный владыка, – свистящий такой шелест.

Я руки на груди скрестил, инстинктивно. Потом узнал – идеальная поза.

– Мне нужна власть, – говорю. – Земная власть. Я хочу стать величайшим из королей. По-настоящему, а не марионеткой на троне, как отец.

– Абсолют меняется на душу, – отвечает.

– Не подходит, – говорю. – Дорого. Пусть будет не абсолют. Подешевле что-нибудь.

– Власть без любви народа, – шелестит. – Власть без награды. Дурная слава. Тяжёлая память. Устроит?

Я почувствовал, как у меня щёки вспыхнули. Идеально. На что мне сдалась любовь этого стада? Пусть любят таких, как батюшка, а я буду дело делать. Награда? Смешно, действительно. Дурная слава? А как они мне сделают добрую? В брата меня превратят?

– Великолепно, – говорю. – То что надо. Сколько с меня?

– Плату Та Самая Сторона сама возьмёт. Для тебя, юный владыка, даром.

– Проклятие? – уточняю.

– Нет, не официальное. Тебя и так проклянут тысячу раз. Но мы же договорились, что душа останется при тебе. Хотя без души тебе было бы спокойнее и приятнее. Откровенно предупреждаю.

– Не подходит, – повторяю. – Я уже решил.

– Да будет так, – шипит. – Выжжено на Скрижалях Судеб.

Вижу, ему уже скучно: всё решено, а взяли с меня мало. Ну и не стал его зря на границе миров держать. Разрезал себе ладонь, дал ему крови выпить – угостил за приход на зов. Потом отпустил.

Даже как-то слегка разочаровался. И гром не грянул, и папа не умер вместе с братцем. И не чувствую, чтобы поумнел или стал сильнее. Огорчительно.

Но, как я тогда размышлял, если с другой стороны посмотреть – я же не отдал им душу. Вот если отдал бы, они бы мигом подсуетились. А так – жди, пока сработает.

Я же пока не знал, как они берут сами. И сколько. Ребён-

ком ещё был, в сущности... и подсказать мне было некому.

Но душа осталась при мне, не верьте слухам. И самое смешное: я ни разу не пожалел. Я умею боль терпеть, если без неё никак. А некроманту профессионально без боли не прожить.



Первое, что я заметил, – это как моё отражение в зеркале день ото дня меняется.

Правы святые наставники: зеркало есть орудие Тех Слых. Да ещё какое!

У подростков кожа часто портится. Воспалется и всё такое. Но с моими прыщами ничто бы не сравнилось. Выше-среднее явление. Шедевр. Каждый, по моим теперешним воспоминаниям, ростом с горошину, не меньше. И самого яркого цвета, который только нашёлся у Господа в палитре. На моей бедной физиономии клочка чистой кожи в квадратный дюйм не нашлось бы. Разве что там, где синяки под глазами.

В общем, ощущалось так: как на себя гляну, думаю не о короне, а куда бы пойти удавиться, чтоб никто потом труп не нашёл. Родная маменька на меня смотрела, как на слизняка. Не говоря уж о девушках. А я был вполне парень, как ни странно. Интересные вещи иногда снились.

Мой драгоценный братец девиц валял пачками. От судо-

моек и швеек до благородных включительно. Без долгих разговоров... как и полагается воплощению мужской доблести. Папенька, когда узнавал об очередном приключении, только ласково улыбался от скромной гордости. Вот мы какие, женщин к нам так и тянет. У шестнадцатилетнего принца должна быть толпа любовниц.

А второй принц, которому шёл четырнадцатый, шпионил безбожно. И чем больше видел, тем сильнее тошнило. Цепляло, но тошнило.

Я тогда ещё не понимал почему.

Вернее – догадывался. Со мной-то все эти фрейлинки вели себя официально до невозможности и просто леденели, как декабрьская луна. Смотрит такая на меня, болезного, с омерзением. Губки подождёт, сощурится. «Ваше высочество, умоляю, простите меня, я тороплюсь». Я то радовался, что на мне ошейник, то жалел об этом – так убить хотелось.

Не просто убить, а так, чтобы почувствовала. Чтобы дошла моя злоба у неё до сердца, до костей, до печёнок... и до некоторых других внутренних частей.

Сказано: учитесь властвовать собой. Вот уж я учился...

Нет, поймите меня правильно. С точки зрения... ну, с обычной точки зрения, как принц, я мог бы и приказать такой. Чтобы унижить её, просто до пола опустить, до дворцовых подземелий. Подчинились бы. Стал бы настаивать – подчинились бы даже такому принцу: и на мне ответ короны. Только я не приказывал, даже не пытался. Гордость не поз-



воляла, гордость. И стыд.

О, как за отрочество своё неприкаянное и окаянное я презирал эту возвышенную любовь! Да вот, да! Я всё это рассказываю не для того, чтобы кому-нибудь понравиться. Да, сидел в клетушке на вершине сторожевой башни, рассматривал гравюры в старинном трактате «О плотских утехах» и Бог знает что ещё делал. Тошнило, но тянуло. И ненавидел все эти серенады-свидания-страдания-сцены-локоны так, что руки дрожали.

Они же меня ненавидели за прыщи на морде и за перекошенную фигуру. А я их – за выражения лиц и за позы. Кто из нас имел больше прав на ненависть?

Меня – за внешнее. Я их – за внутреннее.

Тяжело оказалось смириться. Я только догадывался ещё, что это Те Самые с меня плату берут. Авансом. И к тому же это оказалось только начало. Цветочки, так сказать.

Первый урожай ягодок появился, когда я влюбился.

В пажа. Ага. В маменькиного. Без памяти.

Некстати решил понаблюдать, как его будут пороть за какую-то там пустяковину. Я всегда подглядывал в любые щели, за всеми подряд шпионил, а тут зрелище показалось интересным. Мне такие вещи казались интересными почти всегда, развлечение высшего сорта. Во-первых, кому-то плохо. Во-вторых, плохо не мне. А в-третьих, этот кто-то – мой потенциальный враг.

А вот в тот раз не прошло. Совершенно неожиданное впе-

чатление. Простите, уважаемые, но воспроизвести то, что я тогда думал, – увольте. Не под силу. И непечатно. Особенно то, что касалось до маменькиной свиты.

Что это было – первый в жизни приступ сочувствия или больше что-то другое, – сейчас даже не скажу. Но уж не нормальное моё любопытство, плюс злорадство, плюс капля похоти. Может, потому что он гордый был не по дворцовому этикету, в ногах валяться не стал... Может, потому что молчал... сейчас уже не разобраться.

Его звали Нэд. От внешности остались зелёные глаза, улыбка – щербинка между передними зубами, волосы слегка рыжеватые... Первая любовь. Как меня это тогда ранило... до крови.

Там плотского было очень мало... разве что меня всегда смущали красивые люди. С детства. Но не в красоте дело. Влюбился в душу. Наверное, в гордость не по титулу... сейчас уж не разберёшь. В общем, потянуло.

С ним всё так просто вышло – диву дашься. Он-то был не фрейлина, ему я приказал остаться. Легко. И как мы с ним болтали обо всём на свете, кто бы знал! Он разбирался в таких материях, которые я знал только краешком, по книгам и шпионя: для него это была рутина, будни и то, в чём непременно надо разбираться хорошо. Надо думать. Пажи существуют при дворе, а при дворе всегда бардак и никто не стесняется трепаться. Но дело даже не в этом, ничего такого, в чём нас потом дружно обвинили, между нами не было, разве

что лихо обсуждали всякую всячину. Главное – он же меня слушать стал, ни малейшей неприязни не выразил, ни капли отвращения. Я растаял. Я ему рассказал почти обо всём, искренне. Он был старше меня на пару лет, с ходу всё понял, так среагировал...

Я просто не был ему отвратителен. Это меня поразило.

Я в первый раз в жизни плакал в чьём-то присутствии. Поверил ему, в общем, даже больше – доверился. А он сказал: «Не берите близко к сердцу, ваше высочество, вы ещё всем покажете». Душу мне согрел. А я впервые в жизни по-настоящему был благодарен кому-то. Ещё немного – и у меня появился бы друг, а это бы столько всего изменило...

Нэд, Нэд... не повезло нам.

Через неделю нас поймали вдвоём. Смешно сказать, за каким занятием – ведь совершенно невинные игрушки. Даже по самым строгим меркам ничего особенного не было, так, грелись чуть-чуть. Руки он мне целовал. В обнимку сидели. А что началось, Боже, что началось!

Как папенька на меня орал! Какими словами называл! Как братец присоединился! И святой отец! И премьер! Они мне в тонких частностях объяснили, в чём мы виновны и как это называется. Они про меня больше меня самого знали, и жутко их бесило, как матушку неделю назад, что я в ногах не валяюсь, не каюсь и пощады не прошу. Грешник должен рыдать и каяться, унижаться и прогнуться, тогда от него все отстанут и будет ему благо. А меня заклинило. Кровь.

Вот это они и сказали потом. Я, как они сказали, закоснел в грехе, несмотря на юный возраст. Проклятая кровь. Надо выжигать калёным железом. Пока не поздно.

Выжгли.

Заперли меня в каморку для провинившихся слуг, только в отличие от тех самых слуг к стене приковали серебряной цепью. Во избежание. А над дверью прибили свиток с изречением из Писания: «Преступивший закон мира – да будет осуждён». И не оставили мне не только книг или пера с чернильницей – кусочка штукатурки не оставили, пентаграмму нацарапать.

А за окном, около скотного двора и выгребной ямы, представьте себе, у выгребной ямы – сплошное милосердие и рыцарство! – повесили Нэда. За то, что он якобы научил принца всяким непотребствам. Сняли с двух столбов качели, на которых птичницы качались, закинули верёвку...

Я там несколько месяцев просидел на хлебе и воде, глядя, как разлагается его труп. Я был – ярость во плоти. Сначала просто рыдал от ярости, от тоски, от бессилия, был готов грызть эту цепь. Потом перестал, начал думать.

Я теперь понимаю, что это Те Самые организовали. Для того, чтобы у меня хватило сил на дальнейшую жизнь. Я им за это не благодарен, но что сделано, того не воротишь.

Силы берутся из любви и ненависти. Только так.



Выпустили меня перед свадьбой братца.

Я бы дольше там просидел. Меня бы, наверное, в конце концов заточили куда-нибудь в каземат, в башню или ещё куда подальше, но решили, что сломали. Я стал тихий. Тихий-тихий, молчал, смотрел в пол. Я давно заметил: если кто-нибудь смотрит в пол, все думают, что ему глаз не поднять. Воспользовался.

Отец мне сообщил, что прощает меня. Ради огромного праздника. Мол, надеется, что я одумался и более оскорблять свой род мерзостями не буду. Весёлый такой был, благожелательный, довольный.

Я кивал, смотрел в пол. Не мог взглянуть на его лицо, боялся: Дар внутри меня бушевал, как пар в котле над огнём, если крышка запаяна. Чугун мог разорвать в клочья, а я же не чугунный. Боялся обозначить свою злобу раньше времени, боялся. Не готов был.

Они меня не спросили, прощаю ли я их. А я не простил. И решил для себя: никогда не буду оставлять в живых тех, кто меня ненавидит. И в раскаяние верить не стану. Всё это чушь для отвода глаз. Человек, как я, может делать вид, что унижен, раздавлен, что ему уже всё равно... а сам будет собирать силы.

Дудки.

Маменька меня поцеловала в лоб. Всё щебетала, щебетала, как она рада, что я исправился. Как ей хотелось, чтобы я

порадовался за братца, чтобы принял участие в церемонии. Я содрогнулся, когда она ко мне прикоснулась.

А она сказала: «Ничего, ничего, Дольф, всё дурное уже позади. Пойдите, милый, найдите братца, поздравьте. Пойдите, пойдите». Я пошёл.

Нашёл его в гардеробной.

Он стоял перед зеркалами, парадный костюм примерял для свадебной церемонии. Белый и золотой, этакое солнце на снегу, локоны рассыпались по блондам, перстни с бриллиантами горят, как роса утром на белых розах. Шикарно, ничего не скажешь. Шикарно.

Он мне дал подойти, так что я тоже в этих чёртовых зеркалах отразился. И братец полюбовался изящным контрастом: он, восхитительный белый принц, и я – церемониальные тряпки висят мешком, как на скелете, лохмы сальные, рожа осунулась, сутулый, скособоченный... Людвиг в тот момент, полагаю, искренне наслаждался и положением своим, и своей статью, и белым шёлком, и невероятным своим превосходством. Хорошо так, от души наслаждался – на лице было написано.

Можно понять, правда?

И со мной заговорил в точности как отец. Так же благодушно, весело и снисходительно.

– А, – сказал, – славно, что тебя выпустили. Рад. Поглядишь, как это бывает по-человечески.

– Ага, – говорю. И смотрю в пол.

А он продолжил. Улыбаясь. Мой дорогой братец.

– Хорошо, хорошо. Тебе, в конце концов, надо учиться жить, как подобает принцу. На охоту со мной съездишь. Бал посмотришь. Танцевать с тобой, конечно, едва ли кто-нибудь захочет, но музыку слушаешь всё-таки...

– Ага, – говорю. Всё равно ему не нужны мои ответы.

Он улыбнулся так мечтательно.

– Невеста – Прекрасная Розамунда. Из Края Девяти Озёр. Ты уже слышал? Говорят, она увидела мой портрет – и даже обдумывать не стала.

– Ага, – говорю.

Не стала обдумывать. Ну да. Шестая дочь этого бедолаги из Края Девяти Озёр. Он себе чуть пупок не развязал, придумывая, что всей этой ораве девиц дать в приданое. Разорился, в долги влез. Король, н-да... Младшенькая, все говорили, хороша, как эльф. А денег у папаши больше нет. И за ней дают клочок земли размером с загон для гусей – три деревни, два села – и серебряные ложечки.

Но наша благородная фамилия за приданым не гонится. Были бы у невесты честь и добродетель. И древность рода.

Дерьма тоже... Ещё бы она стала обдумывать. Принц из Междугорья всё-таки. Страна небедная, может, при дворе будут три раза в день кормить.

– Поздравляю, – говорю.

– Завидуешь небось, – говорит. С сердечной улыбкой. – Сравнить прелести Розамунды с костями того дохлого па-

жа...

И в этот самый миг я вдруг почувствовал, как защита треснула. Смертную боль почувствовал, когда эта трещина пошла по сердцу, по уму, по нервам, по душе... чуть не заорал, так Дар жёг щит Святого Слова. Хотелось корчиться и по полу кататься. Едва стерпел.

И вдруг отпустило.

Я поднял глаза и посмотрел на Людвига. Смотрел и ощущал, как Дар протёк через трещину, то-оненькой струйкой. Как чёрный ручеек влился в братцев мозг, но не разорвал мозг в клочья, нет – собрался где-то внутри маленькой лужицей, таким стоячим болотцем. Чтобы долго и тихо гнить.

А Людвиг ровно ничего не понял. Понятливость – вообще не наша семейная добродетель. Да ему бы и в голову не могло прийти, что он сейчас сломал мою защиту. И что именно ему нужна эта защита как воздух. И что мой ошейник – это уже просто побрякушка. Цацка. Как любой его дурацкий перстень.

Он посмотрел мне в глаза – мне казалось, что в них моя смертная злоба горящими буквами выжжена – и захохотал.

– Что?! Проникся? Ну то-то. Беги, малыш, играй – сейчас портные придут. К этому костюму ещё плащ полагается – белый с золотым подбоем, представляешь?

– Очень красиво, – говорю.

Еле выдавил из себя. И ушёл.

Я сам не знал и никто не знал, что мой Дар так силён,



чтобы проломить три освящённые печати на серебре. А тем более – что я могу наносить раны, которые открываются не сразу. Это уже высшие ступени, многим старцам, высохшим в злодеяниях, не под силу. Но этой мощью меня не Те Самые Силы одарили, это я понял точно.

Это я такой подарок получил от своих родных и близких. Это мои собственные боль, ярость и беззащитность. Всё могло быть иначе, но они сами сковали мне меч против себя же самих, закалили этот меч и подвесили к моему поясу.

И я им за это тоже не благодарен, потому что, если бы этого не случилось, на моей душе было бы гораздо меньше шрамов.



Людвиг умирал целую неделю.

Смешно, но меня даже в мыслях никто не заподозрил. От меня же одни кости остались за время моего затворничества, на мне же ошейник был со Святым Словом. Я же был меньше, чем ничто. И потом – меня, как всегда, перестали замечать.

Они возились с Людвигом.

Лейб-медик сначала сказал: похоже на чёрную оспу. Потом понаблюдал-понаблюдал: нет, скорее на проказу, но осложнённую и нетипичную. И тогда собрали консилиум.

И все эти лейб-медики, просто медики, лекари, знахари,

святые отцы кружились вокруг Людвигова ложа, как вороньё вокруг падали – чёрные, хмурые. Обсуждали, советы давали, поили его всякой дрянью...

Ни одного некроманта, конечно, не позвали. Любой некромант с ходу сказал бы, в чём дело: чужая, мол, злоба его убивает. Но кто их слушать будет? От лукавого. И потом, где бы взяли некроманта в таком-то благочестивом государстве. Так что мне ничего не грозило.

Обо мне говорят, что я не знаю жалости... Очередная ложь.

Я не наслаждался, не верьте слухам. Я смотрел на него, на его смазливое личико в язвах, на руки, высохшие, потрескавшиеся, покрытые струпьями – и мне было ужасно больно, физически. Под лопаткой резало. Меня корчило от жалости. Я ненавидел себя за то, что сделал именно так. Я бы его добил с облегчением, из сострадания добил бы, по-другому ему нельзя было помочь – но они-то надеялись, что он выздоровеет...

Ох, если б он меня позвал и попросил смерти! Если бы он что-нибудь понял, хоть перед самым концом! Я бы, наверное, плюнул тогда и на корону, и на власть – я бы отпустил его душу, а сам в монастырь ушёл бы. И никогда больше не использовал бы Дар. Даже чтобы муху прихлопнуть.

Но так не бывает.

Он смотрел на знахарей бешено и хрипел:

– Быдло тупое! Холуи ленивые! Что, ни один идиот не мо-

жет придумать, как скорее меня вылечить?! Мне же больно, гады! У меня же невеста! Вам что, всё равно, да?!

Ему и в голову не могло прийти, что кому-то может быть всё равно. С ним всегда все носились. Да что там! Весь белый свет существовал для его удовольствия. Все люди служили ему игрушками. Он никогда не страдал, мой братец Людвиг. Он был здоровый, его никогда не били, ему давали всё, что он попросит – а тут...

О, как его бесило, что Господь Бог его не слушается! Он же просил – дай мне поправиться, ясно просил – а Бог не даёт!

Уже перед самым концом он скулил как щенок:

– Папенька, сделайте что-нибудь! Ну сделайте! Я жить хочу!

И папенька смахивал скупую мужскую слезу, а маменька просто в конвульсиях билась. Но как бы они ни оплакивали его – горе им не мешало меня ненавидеть.

Я же теперь стал наследником. Вот так.

Людвиг мне сказал напоследок:

– Ты, Дольф, сам знаешь: ты в наследные принцы не годишься. Ты выродок. Но судьба за тебя, будь всё неладно – радуйся давай! Радуйся!

А отец с матерью меня взглядами просто в пол впечатывали. Они тоже так думали, слово в слово. Меня их отвращение к земле гнуло, в узел завязывало, но ненависть распрямила.

Если бы не неделя с Нэдом, они бы меня стоптали в пыль.

Но теперь у меня было оружие, хорошее, надёжное оружие – и я даже глаз не отводил. И не раскаивался.

Когда Людвиг хоронили, я придерживал гробовую пелену и ощущал на себе взгляды двора. И как всегда – принимал к сведению.



В день его похорон как раз собирались устроить помолвку. Прекрасная Розамунда стояла в сторонке, вся мокрая от слёз, вся в чёрном: замученный пушистый котёночек, который попал под ливень. Маленькая такая, тоненькая – в свите своей, среди громадных баронов и толстых фрейлин. Всё, помню, пожималась – ветрено было, пасмурно, хоть и июнь, – и платочек мусолила.

Кого я всерьёз жалел – так это её. Так хорошо пристроили девчонку – и вот такое разочарование страшное. И какими глазами она смотрела на Людвиг в гробу – не передать. Смесь жалости, ужаса, отвращения, нежности – порох такой внутри души. Одна посторонняя искорка – рванёт, и сердце разорвёт в клочья.

Я думал – ишь, ещё не невеста, а уже вдова. Бедняжка.

Ребёнок я ещё был, ребёнок. Не знал, на что Те Самые Силы способны, но на что обычные люди способны, чтобы соблюсти свою выгоду, я ведь тоже не знал до конца. То, что дальше вышло, меня поразило, просто, можно сказать, оша-

рашило.

Государь-то Края Девяти Озёр вовсе и не собирался рвать брачный контракт с моим батюшкой и терять для любимой доченьки такую выгодную партию, хоть весь мир сгори или провались. Сам лично приехал договариваться и разбираться. На Совете резал правду-матку, аж ключья летели. Старший принц умер – пустяки какие, в самом деле! Младший-то остался! Он что же, не мужчина у вас?

Папенька, как я слышал, ответил: «Да не совсем».

Ну и что? Кому это интересно-то? Кого волнует? Ещё подрастёт, чем бы дитя ни тешилось... И потом – ему уже, считай, сравнялось четырнадцать, а девочке ещё не исполнилось пятнадцати: ровесники!

Батюшка мой слабо отбивался. А папенька Розамунды наседали. И в конце концов слово прозвучало – некромант.

Только это никого не остановило. Они были в таком раже от заботы о престолонаследии и собственных деньгах, что им уже на всё плевать хотелось.

Подумаешь, некромант. Хоть вурдалак.

Я же бедную девчонку больше жалел, чем её собственная родня. И я всё понимал, несмотря на возраст – она ж не первая девчонка была, которую я видел в жизни. И ей показывали портрет Людвига, она, может быть, даже поболтать с ним пару раз успела, с нашим белым львом, потанцевать... а теперь должна как-то смириться вот с этим... что я в зеркале регулярно вижу.

Меня лейб-медики осматривали, и озёрный, и папин – стыдобища. О таких вещах спрашивали, за такие места хватили – думал, сгорю на месте. Но обоим государям донесли, что, невзирая на свой юный возраст, я уже вполне мужчина, что бы я там о себе ни вообразил. Короче, подписали приговор нам обоим.

В городе объявили, что наша помолвка состоится сразу по истечении срока траура. И весь город шептался все три траурных месяца, что отдали, мол, кривобокому шакалу белого ягнёночка. Я об этом знал, потому что при дворе болтали то же самое, только злее.

А я сидел в любимой клетушке на сторожевой башне и строил иллюзии. Нэда вспоминал, вспоминал, как славно, когда рядом... как сказать... ну, когда обнимают тебя горячими руками, по голове гладят, говорят что-нибудь доброе, пусть хоть пустяковое. Я же одиночкой рос, меня никто не ласкал – проклятая кровь, – а хочется, хочется ведь...

Клянусь Той Самой Стороной или Господом, если вы так легче поверите: ни о каких непристойностях не думал. Ни о самомалейших. Просто размечтался: как я Розамунде объясню, что я ей не враг, что обижать не стану и другим не позволю... Что лапать её, как все эти придворные кавалеры – своих девок, нипочём не буду, а в первую ночь поцелую ей руку, только руку... Ну если только в уголок рта ещё, если она захочет.

Что вопросами престолонаследия станем заниматься,

только когда она сама позволит. Когда подружился. Расскажу ей, думал, как Нэду, всё честно. Чтобы она поняла, что я не законченная мразь... и что не завидовал Людвигу – другая причина была... Если только когда-нибудь посмею ей сказать, что Людвигу убил...

И не из-за неё.

А к ней подойти не получалось. Она вечно с дуэньями ходила. А у дуэний был вид цепных собак. И я решил, что это, видно, против правил каких-то – разговаривать с невестой до свадьбы. Не стал настаивать.

Я не влюблён в неё был, нет... но она меня занимала. Даже очень. Я всё думал, что она мне станет подругой, родным человеком. Что всё будем обсуждать вместе, разговаривать...

Поговорить иногда ужасно хотелось. Это у меня редкое удовольствие было: разговор. Я иногда даже романы читал, как там люди разговаривают, хотя не любил романы, кислятину сопливаю. А тут, думаю, повезло мне. Девчонки любят болтать, просто сами не свои. А я буду слушать. Им же нравится, когда их слушают. Узнаю, что она ещё любит, читаю книжки об этом... даже если это будут платья или пудра, всё равно...

Скромные мечты... Я даже пару уроков танцев взял, хоть на балы никогда не ходил и танцевать терпеть не мог. Может, думал, она все эти танцы-шманцы любит, девчонка же...

Тяжёлые выдались три месяца, как вспомнишь. Я про всё забыл, даже книг не читал, ходил как в тумане каком-то. Всё

казалось, теперь начнётся совсем другая жизнь. Не то чтобы даже счастливая, а просто потеплее, чем эта. Всё равно что отдали бы мне Нэда, и он бы спал в моей постели, и обнимал бы меня осенними ночами, когда за окном льёт и ветер воет, каменный холод, весь мир против тебя, и ты кусаешь подушку, чтобы не взвыть на весь дворец...

Мне тогда хотелось только тепла – больше почти ничего.

А она была тоненькая, с тёмно-золотой косой, с длинной шейкой, с громадными глазищами, синими, бархатными, будто дно у них выложено фиалками... с маленьким ротиком, бледно-розовым, как лепесточек. И таскала свои тяжёлые роброны, чёрные с золотом, несла подол впереди стеклянными пальчиками...

Ужасно была похожа на эльфа, как их на старинных миниатюрах изображают. Только один мой авторитет, некромант, конечно, в своём историческом труде утверждает, что эльфов на свете никогда не было.

Что это выдумка. Правда, красивая.



Лето, помню, тогда выдалось холодное, а осень и подавно – холодная, туманная... Выглянешь утром из окна – туман лежит пластами, хоть режь его, сумеречно так, пасмурно – и на душе смутно, беспокойно, будто её царапает что-то... Тяжёлый был год, тяжёлый. Очень для меня памятный и тя-



жёлый...

Свадьбу назначили в начале октября.

Мне тоже сшили такой костюмчик, как покойному братцу, царствие ему небесное. Белый с золотом. Только если Людвиг в этом белом выглядел как солнце на снегу, то я – вроде облезлого грифа, переодетого гусем. Умора, право слово.

Я давно заметил: если когда и выгляжу более-менее сносно, так это только в виде небрежном, растрёпанном, что ли, немножко. Когда волосы взлохмачены, воротник расстёгнут, манжеты выдернуты из рукавов... Конечно, по-плебейски смотрюсь. Но, по крайней мере, не как зализанное чучело.

Но церемониймейстер, портной и вся эта компания во главе с моим камергером просто, похоже, сговорились меня поэффектнее изуродовать. С Господом Богом им, разумеется, не тягаться, но определённых успехов они достигли.

Запаковали меня в эту парчу и атлас, как флейту в футляр. Воротник накрахмалили, и он перекашивался так, что мои разные плечи за милю было видно невооружённым глазом. А волосы завили и напудрили. И лицо от этого выражение приобрело совершенно идиотское, как ни погляди.

Потом стало всё равно. Потом. Но в четырнадцать лет это кажется жутко важным: хорош ты внешне или плох. Глупо. Ребячество. Но ничего не поделаешь. Вот я стоял у зеркал, глотал комок в горле и думал, что лучше сбежать в дикие леса и стать там отшельником, чем в таком виде показаться

перед двором, который только и ищет, над чем бы зубы по-  
скалить.

А тем паче – перед Розамундой.

Тем более что она всплыла в храм лилией из инея, в острых  
бриллиантовых огоньках, бледнее кружева вокруг её личика,  
на белом – одни глаза, тёмные сапфиры, а в них отражаются  
свечи. И пока она ко мне подходила – я себя и этак, и так...  
Всеми словами. Про себя.

Смотреть я на неё не мог, надо же на святого отца – но  
рука у неё, помню, холодная была и влажная. И дрожала. И  
я думал, что она озябла и боится. Я бы её Даром прикрыл  
крепче крепостной стены, от любого несчастья, от всего ми-  
ра...

Там, в храме, я всё плохое, что о девчонках и о романах  
думал, будто куда-то в дальний ящик запер. Я поверил, в соб-  
ственные мечты поверил, в хорошее поверил... в то, во что  
верить нельзя. Очередная глупость.

Потом был обед. Скучный, церемонный. Розамунда сиде-  
ла раскрашенной статуэточкой, ничего не ела, всё молчала.  
И мне не лез кусок в горло. Я только слушал, как батюшки-  
ны придворные скрепя сердце или, как Нэд однажды сказал,  
«скрипя сердцем», меня поздравляют: всё это враньё, дешё-  
вое враньё, издевательское враньё, насмешливое враньё...

Вот тут-то мне и закралась в голову мысль, что эта свадьба  
– тоже кусок моих постоянных налогов Той Самой Стороне.  
Я это додумать до конца побоялся, до холодного пота между

лопатками, но это-то сушая правда была. Правда.

Единственная правда на том пиру, будь он неладен.



Я еле дождался, чтобы нас оставили, наконец, одних.

Шут отца Розамунды, гнидка горбатенькая, ещё вякнул, что, мол, юного жениха снедает нетерпение наконец взглянуть, в тон ли робам на невесте подвязки, – и все заржали. А я опять почуял, как Дар во мне загорелся тёмным пламенем... он всё это время как бы тлел, будто угли под пеплом, а тут полыхнул так, что щёки вспыхнули. Но я сдержался.

Я решил, что со всей этой сволочью потом посчитаюсь. Подал руку Розамунде, а она только сделала вид, что подала свою – чуть-чуть прикоснулась. И когда мы уходили, мне снова было жаль её до рези в сердце... но кроме жалости оттуда прорезалась и ненависть.

Ждала своего часа. Я ещё не знал какого.

Мы пришли в спальню. Поганое брачное гнёздышко, как в самых гнусных романчиках – розовенькие кисейки, золотые бордюрики, хмель везде... И меня вдруг затошнило, но не как бывало раньше, когда я за Людвигом шпионил. Предчувствие появилось, нехорошее до невозможности. Всё внутри тремя замками замкнуло от ужаса.

Я посмотрел на Розамунду, а она опустила глаза. И мне стало ещё страшнее – до судорог.

– Вы устали, да? – говорю. Ничего умнее на язык не идёт.

– Да, – отвечает. Еле слышно. Она в моём присутствии в полный голос ещё ни разу не говорила.

– Может, – говорю, – вы, сударыня, глинтвейна хотите выпить? Или орешков вам насыпать?

– Нет.

Тихо, но резко. Нет. Всё нет. И я сказал:

– Вам плохо?

Она подняла голову, встретила мой взгляд – как щитом. И лицо у неё было напряжённое, упрямое и какое-то ядовитое – совсем не эльфийское, я бы сказал, а настоящее девчоночье. Вздорное. Не вызов, как у парня, а желание ранить и не получить рану в ответ.

Они не признают никаких законов поединка. Бьют в больное место и прикрываются чем-нибудь непреодолимым, вроде слёз или обвинений. Я об этом совсем забыл. Размечтался. И теперь мне напоминала Та Самая Сторона – из её глаз.

– Мне прекрасно, – сказала она. – Я счастлива. Вы же всё сделали для моего счастья.

Я не понял. И растерялся.

– Ну как же, – продолжает. И в голосе яда всё больше и больше. – Вы же некромант, все говорят. Это вы убили Людвига.

Достань она из корсажа кинжал и воткни мне в горло – то на то и вышло бы. Я задохнулся, только смотрел на неё во все глаза. А она продолжала, негромко, как будто спокойно

– и ядовито, будто у неё тоже был Дар своего рода:

– Я много о вас знаю, Дольф. Вы упиваетесь смертями, как гиена. Вы с детства завидовали Людвигу. Вы похотливы – да, мне об этом тоже сообщили! Вы развлекаетесь омерзительными вещами. И вы убили Людвига из зависти и из похоти – я об этом легко догадалась. Вы влюбились в меня и разбили моё сердце. Вам хотелось меня получить – и вы получили. Как вы жестоки и как вы низки!

Я сел. Я потерял дар речи. А она продолжала:

– Людвиг был лучше вас в тысячу раз, Дольф. Он был красив, он был благороден, он был добр и любезен. Он был способен любить, понимаете? Вам, верно, и слово-то это неизвестно. Он говорил мне удивительные вещи...

И заплакала.

А я подумал, что он говорил удивительные вещи фрейлинам, прачкам, горничным, бельёвщицам – даже кухаркам. И уж что другое – а любить он был способен так, что только мебель трещала. И что её благородный Людвиг с доброй улыбкой наблюдал, как Нэд стоит и плачет куда горше, чем Розамунда, а на его шею накидывают петлю.

У меня сжались кулаки сами собой, и лицо, видимо, тоже изменилось, потому что она посмотрела на меня сквозь слёзы и сказала:

– Вам нестерпимо слушать правду, да? Вы уже и меня убить готовы, палач?

А я не привык говорить. Не умел оправдываться, не умел

быть галантным, вообще ничего такого не умел. И я сказал как умел.

– Если я палач, – говорю, – что ж вы сказали «да» в храме?

Она разрыдалась в голос. Её всю трясло от слёз, мне хотелось погладить её по голове или обнять, но я боялся, что она это не так поймёт. Я не злился на неё, нет. Я понимал, что её обманули маменькины статс-дамы, забили ей голову всяким вздором... я не знал, что с этим делать, но мне казалось, что она не виновата.

Я чувствовал ледяную бессильную ярость на судьбу. Но не на неё.

Я тогда ещё не знал, что очень красивые и очень беспомощные с виду люди могут быть самыми изощрёнными врагами. Беспомощность Розамунды совершенно меня обезорижила.

А она, рыдая, выкрикнула:

– Теперь у вас хватает жестокости попрекать меня послушанием! Как я могла послушаться отца, как?!

– Сказали бы, что я убил брата, – говорю. – Отправили бы меня на костёр.

– Я говорила! – всхлипывает. – Но мне никто не верит!

– Вот здорово, – говорю. – Вы вышли замуж за того, кого хотели убить?

Она вытерла слёзы и пожала плечами. В этом вся соль. Добавить нечего. Она ведь тоже была ещё ребёнком – такая непосредственная. Ещё не умела врать, как взрослые дамы

– по-настоящему.



Самое отвратительное, что мы в ту ночь легли в постель вместе.

Я сидел на краешке ложа и ел конфеты. Миндаль в сахаре, точно помню. С тех пор ненавижу этот вкус до рвоты: как случается что-нибудь стыдное, тяжёлое, болезненное, так во рту этот привкус. Сладкий, горьковатый, ореховый.

Я вообще сладкое не люблю. Но хотелось руки чем-нибудь занять и рот занять, а, кроме этого миндаля мерзкого, нам ничего не поставили.

А Розамунда сидела с другой стороны и тоже ела миндаль. Всхлипывала и хрустела конфетами. Я понимаю, что это глупо выглядело, но на самом деле я чувствовал, что нас просто заставили быть вдвоём в одной спальне, железными крюками стянули. Надо было как-то барахтаться, чтобы не утонуть, в стыде, в злобе, в гадливости – кому в чём.

Мы ужасно долго так сидели. Часы на башне пробили четверть одиннадцатого, потом половину, а мы всё ели орехи и не могли больше ничего сделать.

В конце концов я сказал:

– Сударыня, я спать хочу. Я тут лягу на краю, ладно? Похоть? Какая похоть?

Я чувствовал себя как каторжник в цепях. Или как узник

в тюрьме. И бежать было некуда.

А Розамунда посмотрела на меня презрительно и говорит, ещё холоднее и ядовитее, чем раньше:

– Вы, значит, совсем не мужчина? Да?

Я проглотил злой смешок. И сказал:

– Вы решите для себя, сударыня, кто я – похотливая скотина или вообще не мужчина. А то нелогично.

Розамунда прищурилась и выпалила:

– А, так, значит, это вы решили надо мной поиздеваться? Показываете, что я вам не нужна? Так вот, не подумайте, что я желаю ваших ласк, сударь! Просто всё должно делаться по обычаю, если вы не помните. И иначе – я не знаю, какими глазами буду смотреть завтра на вашу мать.

– У вас что, – говорю, – несколько пар глаз?

Розамунда вздохнула устало, и глаза – единственная пара – у неё наполнились слезами, а я подумал, что можно было сарказм и приберечь для другого случая.

Она была нереально красива. И беззащитна. А я чувствовал себя злобной тварью. Нестерпимо хотелось это хоть как-то исправить, помочь ей, утешить – но я даже представить себе не мог как.

И сказал, смягчив тон, как мог:

– Да я ничего такого не имел в виду. Я же не слепой, вижу ваши неземные совершенства... и это... запредельное изящество.

Из неё на мгновение радость полыхнула, такой вспыш-



кой – р-раз и нет. Я подумал, что правильный комплимент вспомнил и что стоило свеч читать романы.

Я сейчас понимаю, что я тогда подтвердил ей, что у меня одна похоть на уме. Но тогда... слепым щенком я был тогда. Безмерно наивным.

Я ужасно долго расстёгивал крючки у неё на роброне, корсаж ей расшнуровывал, потом вытаскивал какие-то штуки, вроде тонких длинных гвоздей, у неё из причёски и думал, что камеристкам нелегко живётся. А Розамунда передёргивалась, если я случайно дотрагивался до её голого тела. А мне от её вздрагивания было как от ударов.

Я не мог это сделать, не прикасаясь – а прикасаясь, чувствовал себя палачом. Я уже понял, что ничего, называемого «утехами», не предвидится, что это будет неприятно и невесело. И не согреет нас. Что это будет не игра, а работа, причём тяжёлая и неприятная.

Потому что, если тебе нужно делать что-то против воли, это моментально превращается в работу. Даже любовь.

Дальше был затянувшийся кошмар. Розамунда не хотела, чтобы я её целовал, дёргалась, когда я пытался её обнять, и отчаянно старалась на меня не смотреть – но немедленно полоснула взглядом, как ножом, когда я попытался отступить. Ей надо было. Ей приказано было довести обряд до конца, ей надо было стать дамой – и она собиралась стать дамой, несмотря на отвращение ко мне. Мне передалось её отвращение, мне было мерзко от собственной наготы, я был

сплошное клеймо Тех Самых... и до сих пор дивлюсь, как вообще сумел довести ритуал до конца. И когда мы кое-как отработали эту кошмарную повинность, оставаться рядом не было сил. Я думаю, мы оба казались себе гадкими, как замаранные в чём-то. Я, во всяком случае, чувствовал себя грязным с головы до пят.

К тому же я не мог избавиться от мысли, что ранил Розамунду. Крови оказалось немного, но от тяжёлых ран бывает и меньше. Мне было тошно, жалко, тоскливо, душно, зло, стыдно – короче, я чувствовал что угодно, только не хвалёную похоть.

Мы легли спать, раздвинувшись так, как только ложе позволило. Я слышал, как Розамунда ворочается и всхлипывает, мне ужасно хотелось подать ей руку или сказать что-нибудь доброе, вроде «Не берите близко к сердцу, сударыня», но я уже знал, что это бесполезно.

И сочувствовать ей глупо. И жалеть её глупо. В отличие от меня, она получила то, что хотела.

Розамунда теперь была дама, а я её супруг перед небесами... Теперь лучшее, что я мог сделать для неё – это не лезть с дурацкими нежностями, а немедленно провалиться сквозь землю. Она осталась бы благородной вдовой – и всё было бы просто замечательно. Но я каким-то образом в очередной раз не подох, хотя, кажется, люди должныдохнуть от стыда и вины такой мощи.

Те Самые Силы получили свой сладкий кусок. Теперь на-

до было как-то жить дальше.



Так и началась эта моя новая жизнь.

Следующий день после свадьбы принёс сплошной позор, а что же могло быть ещё? И через день был позор и была тоска. Но, слава Господу, я выяснил, что мне можно не спать в спальне Розамунды каждую ночь – и мы разошлись жить по разным углам. Это было очень славно, потому что иначе мы бы довели друг друга до сумасшествия.

Так всё и пошло. Розамунда жила в кабинете для рукоделий, там у неё её свита, камеристки, чтица – там ей читали вслух слюнявые баллады о неземной любви и рыцарские романы, в которых у героев дивная статья, а она тем временем вышивала на алтарный покров с ангелочками для дворцового храма.

А я жил в библиотеке. Или на башне. Или шлялся по дворцу, подглядывал и подслушивал – вёл свою обычную жизнь. Меня не посвящали ни в какие дела. Я попытался перед Большим Королевским Советом намекнуть отцу, что не худо бы и меня пригласить, я же наследный принц всё-таки – но он на меня так рявкнул, что у меня отпала охота спрашивать.

– Будешь делать только то, что я велю! Подлый выродок, даже заикаться не смей! – что-то в таком роде.

Я больше заикаться не стал. Я хорошенько рассмотрел помещения, примыкающие к Залу Совета, и нашёл одно с интересным акустическим эффектом. И с тех пор присутствовал, только без лишней помпы. Так появилась ещё одна политическая проблемка, о которой отец не знал.

Я очень внимательно слушал. А после Совета шёл в библиотеку, доставал карты Междугорья и окрестных земель и всё сопоставлял. И ещё у меня был давно украденный из библиотеки трактат Хенрика Валлонского «О разумном управлении финансами» – и я его штудировал не хуже, чем заклинания. Я же отлично понимал: Дар Даром, но деньги тоже нужны.

Книжка была совсем новенькая, когда я её украл. А теперь выглядела довольно неказисто, но зато я мог её читать наизусть с любого места, как Священное Писание. Хенрик Валлонский был мой единственный авторитет кроме некромантов древности.

С помощью этого моего учителя и карт с землеописаниями я потихоньку разобрался во всех политических сложностях. На это уходила адова уйма времени: у меня иногда просто мозги закипали, когда я пытался сообразить, какой тайный смысл заключён в какой-нибудь простой новости и что она даёт, но я кожей чувал, что это надо.

Потому что я понял: никто из вассалов не смел впрямую врать моему папеньке. Но они говорили, чуть-чуть меняя ударения, и он думал, что всё прекрасно, когда вокруг была

полная задница. Самые невинные вещи оборачивались самыми подлыми интригами. Три законченных подонка – премьер, канцлер и казначей – обворовывали моего батюшку заодно с Междугорьем так, что комар носа не мог подточить, а всё потому, что они тоже читали старика Хенрика, а батюшка читал «Рассуждения о соколиной охоте» и «Достоинства породистых лошадей».

Я пока ничего не мог сказать. Но я по-прежнему принимал всё к сведению. Я очень уважал этих троих – но тогда был совершенно уверен, что прикажу их повесить, как только надену корону. В казне не хватит денег, чтобы платить им жалованье в тех масштабах, в которых они воровали.

Два или три раза в месяц меня ловил личный лекарь Розамунды, чтобы сообщить, что сегодня её прекраснейшее высочество будет ожидать меня в своей опочивальне. Это были какие-то её особые дни, которые вся эта компания рассчитывала по звёздам или ещё по чему-то – когда мы могли наконец подарить Междугорью продолжение династии. Этих дней я через некоторое время ожидал, как приступов зубной боли, а после них мне снились кошмары, настолько же страшные, насколько и неприличные.

А Дар...

С тех пор как я убил Людвига, все эти серебряные безделушки перестали мне мешать. Я обрёл над Даром абсолютный контроль. У меня пока не хватало фантазии и опыта на то, как его применить, но я уже ощущал смерть всем телом, и

она мне подчинялась. Вот кто был моим единственным другом в те поганые времена, когда даже мой собственный камергер – и тот служил мне из-под палки и болтал гадости за моей спиной.

Смерть.

Чем больше я читал, тем более интересные вещи приходили мне в голову.

По приказу моих милых родных бедное тело Нэда – кости с ключьями плоти – бросили в ров, где хоронили казнённых без напутствия Святого Ордена. Я сходил туда ночью и отпустил его душу, привязанную к этой грязной яме. Когда он уходил вверх, я успел ощутить его последнюю улыбку. Это немного меня утешило.

Я ему жизнь спасти не мог, но уж посмертие-то спас – и знаю, что он это понял. И Дар мне после этого стал особенно драгоценен. Лучшая часть меня.

Я бродил ночами по дворцовым переходам и чуял обострившимся Даром места, где была пролита кровь. Несколько раз я отпускал души, привязанные к месту своей насильственной смерти: их убили по приказу моих предков, и, отпуская призраки на волю, я радовался за них и злорадствовал над предками. Однажды, когда часовой заснул, я украл у него ключи и спустился в дворцовое подземелье. В нём не держали узников уже лет двадцать: папенька не любил, чтобы вопли пытаемых мешали ему пировать, так что враги короны переехали в Башню Благодетеля. Зато я нашёл тут

немало интересного для себя. Дар светил ярче любого факела и высвечивал потрясающие вещи.

Я до такой степени научился общаться с неупокоенными, что поговорил даже со страдающей душой бедолаги, замурованного в стену сотню с небольшим лет назад. Он имел неосторожность прилюдно сказать пару добрых слов о тогдашней королеве – причём святую правду, как я понял. Но ни королева, ни её порфиноносный супруг этого ему не простили – именно потому, что это была правда.

Мы с ним посплетничали о королевской власти. И я простил его от имени предков и облегчил ему уход, насколько смог.

Тогда эти бедные души, запертые в кровавых пятнах, в ржавых кандалах и в каменной кладке, казались мне таким явственным отражением моей собственной участи, что хотелось всех освободить. Всех.

Чтобы не слонялись по дворцу, как по тюремной камере. Как я.

Но именно там, в подвале, одна интересная потусторонняя личность встретила меня иначе, чем прочие.

Его звали Бернард. При жизни. Он принёс мне официальную присягу по всей форме, принятой двести лет назад, и стал таким образом моим первым настоящим вассалом – добровольным.

Чудный призрак. Когда он собирался в подобие телесной формы, становился мерцающей тенью сухого сутулого стари-

кашки в берете с пером и старинном костюме – рукава у кафтана вроде кочанов капусты. В своё время он служил по тайным поручениям у тогдашнего канцлера. Совершенно выше-средний был сутяга, наушник, доносчик. В курсе всех дворцовых интриг: кто где, кто с кем, кто о чём болтает...

Его удушили двое придворных его же собственным шарфом тут, в подземелье – он спускался записывать допрос очередного узника и неосторожно зашёл за угол. И больше всего глодало бедолагу, что он уже не смог донести на тех, кто его убил. Не было тогда при дворе некромантов – так что некому оказалось стукнуть. Оттого и душа его не обрела покоя.

Меня же Бернард слёзно просил не отпускать его к престолу Господню – наверное, потому, что от Божьего Суда не ожидал для своей души ничего хорошего. Умолял только отвязать от места смерти. Чтобы он мог бродить, где захочет, и служить мне верой и правдой согласно своей потрясающей, отточенной с годами квалификации.

– Я, – говорил, – ваше драгоценное высочество, теперь-то, стало быть, могу куда как больше пользы короне принести. Я же теперь и через дверцу, и через стеночку – в любую щёлку пробраться могу. Коли бы мне суметь из подполья-то выйти, уж я бы вам, ваше высочество, на всё раскрыл глаза-то. Людишки-то, чай, вовсе избаловались без пригляду. Вот кабы мне раньше этот талант иметь, ужо пакостники-то не обрадовались бы: злодей-то, чай, думает, что на него и управы нет, ан управа-то – вот она... А для себя-то мне ничего уж



не надобно – лишь бы всё по закону состояло...

И хихикал. Душка. Только сильно убивался, что ручку мне облобызать не может.

Я его отвязал. И даже пожаловал придворную должность – шеф Тайной Канцелярии. Уж моя-то Канцелярия получилась самая Тайная из всех мыслимых: Бернард вокруг себя шума не устраивал и мало кому показывался. Отчасти из-за того, что силёнок у него было не в избытке, отчасти – по профессиональной привычке. Не стонал, не вопил, цепями не гремел – о нём мало кто знал, и нам это оказалось на руку.

Старик даже прослезился, когда я ему сообщил своё решение. Бумагу с моей подписью и гербовой печатью о вступлении Бернарда в должность я ему, конечно, отдать не мог, – как бы он её взял, – но составил по всем правилам, показал ему и спрятал у себя. Старик обожал всю эту канцелярщину, стоило ж сделать приятное своему приближённому.

И меня он действительно любил. Призрак некроманта обмануть не может: сколько при нём души осталось – столько он мне и отдал. Наверное, при жизни был законченным подонком... но и при жизни в нём это водилось: преданность долгу и умение быть благодарным. Не так уж много, конечно, но мне и этого хватило: у меня не было преданных живых, я был готов привечать преданного мёртвого.

Так я приобрёл дополнительные глаза и уши, а заодно собеседника и советника с бесценным опытом по части дворцовой интриги. Душа Бернарда теперь слышала мой зов, вер-

нее, призыв моего Дара, где бы ни находилась, и по зову навещала моё убежище на башне. Я наслаждался разговорами – старикан любил рассказывать и рассказывал весьма захватывающе. Сижу, бывало, вечером на охапке соломы, у бойницы, – свет из неё красный, закатный, ветренный, – а Бернард рядом, еле-еле виден, будто грифелем на стене нарисованный. И не спеша так излагает:

– ...дядюшка-то ваш, принц Марк, по братце-то вашем не больно сокрушается. Своими ушами слышал, как он вашему кузену-то да своим баронам говорил, что, мол, теперь самое время настало выжидать да надеяться. Мол, маменька ваша, ваше высочество, другого сынка по слабости своего здоровья представить не сможет, а вы, ваше высочество, у государя не в милости. Ведь намекал, пакостник, чтоб своего щенка в обход вашего высочества на трон взгромоздить – так-таки и сказал, не посовестился...

В общем, я потихоньку с помощью Бернарда весь двор разделил на настоящих врагов, пассивных врагов и недоброжелателей. Друзей у меня не было: Бернард утверждал, что обо мне никто не говорит хорошо за глаза, и я знал, что он прав. Я не питал иллюзий – общее пугало, некромант, выродок, урод, проклятая кровь – и только собирался принять меры, чтобы не подвернуться под яд или нож до того, как Та Самая Сторона начнёт выполнять обещание.

Я ещё не понимал, что обещание уже потихоньку выполняется...



А Розамунда, несмотря на все наши тошнотные усилия, никак не становилась беременной – и батюшка, если я случайно попадался ему на глаза, орал на меня. Проклятая кровь, не угодно ли, мёртвое семя, какой я мужчина, чем мы занимаемся, я буду виноват, если род пресечётся. Через некоторое время я все эти перлы уже мог наизусть цитировать – но мне тут было ничего не изменить. Розамунда мне тоже говорила: «Вы же понимаете, что должны?» – будто моё понимание что-то решает.

Предполагалось, что я терзаю Розамунду своими нечистыми страстями. На самом деле я отрабатывал супружеский долг, как мужик – барщину, не становясь ближе к жене ни на ноготь: теперь она ненавидела меня ещё и за то, что не становилась полнее. Она была ослепительно прекрасна; я казался себе идиотом, влюблённым в алебастровую статую, каким-то грязным волшебством обученную отпускать колкости, когда этого меньше всего ждёшь.

А батюшкина свита шепталась: не дай Бог, деточка унаследует моё проклятие. И меры принимали со страшной силой: вся наша супружеская спальня была завешана ладанками из святых мест, под подушками лежала и воняла освящённая лаванда, на половине Розамунды поселился её духовник... Он даже подряжал монахов петь благословения и

молитвы прямо ночью, когда я к Розамунде приходил, но это было выше моих сил. Я съязвил, что вместе с прочим нечистым сбродом святые люди изгоняют и меня, Розамунда немедленно всем это разболтала, духовник обозвал меня неблагодарным и маловерным – но хоть от молитв по ночам я избавился.

Уже хорошо.

Прошёл год, прошёл второй, третий приходил к повороту, на мою голову уже сложили все ругательства, какие знали, – но моя прекрасная супруга наконец всё-таки начала полнеть.

Мне сказали: «Первый раз от тебя забрезжила какая-то польза».

Я тихо обрадовался. Я надеялся, что от меня отстанут – и отстали. Теперь занимались Розамундой. Маменька взяла её жить в свои покои, вокруг неё всегда толпились дамы и повитухи. Я подумал, что Розамунда в какой-то степени заменила маменьке Людвига. А может, маменька ожидала, что моя жена родит ей нового Людвига, не знаю.

Я же очень продуктивно проводил время. Я учился.

Учителей у меня не было уже давно. С тех пор как я прикончил гувернёра, придворные профессора и мудрецы ко мне в наставники не рвались. А батюшка решил, что если уж я умею читать-писать, то большего и не надо. И так от меня одна головная боль – а вот буду ещё слишком умным...

Поэтому я до всего доходил сам. Дар много помогал. Дар и чутье. Но я всё-таки понимал, что, будь у меня учитель,

дело шло бы куда быстрее и толковее. Я ведь совал нос во все книги подряд: что казалось непонятным – откладывал, выбирал что поинтереснее, начинал ставить опыты, соображал, что не знаю самого главного, – и снова лез туда, где сложно... Иногда в пору было рыдать без слёз и волосы на башке драть – так это оказывалось тяжело.

У меня, к примеру, в семнадцать на руках живого места не было – я учился поднимать мертвецов проклятой кровью. Удирал ночью на кладбище Чистых Душ, благо от дворца четверть часа быстрой ходьбы, искал Даром могилу по свежее, рисовал знаки призыва, резал запястья, обращался к Той Самой Стороне, капал кровью на вскопанную землю...

Когда первый труп встал – у меня от радости дыхание спёрло. Будто весь мир подарили. Могу! Додумался! Сил хватило! Прости Господи, извините за подробности, просто расцеловал эту квёлую бабку, которая мирно опочила, наверное, от старческих болячек. Ничегошеньки она не могла – поводила мутными гляделками туда-сюда и покачивалась, пока я танцевал вокруг неё; приказов не слышала и не понимала – но она всё-таки встала, а потом легла на место. Я был такой счастливый...

Наверное, мои упражнения кто-то видел. Слухи обо мне пошли гадкие запредельно – все старые сплетни теперь просто в счёт не брались. Болтали, к примеру, что я забавлялся с трупами девиц. Честное слово, мне это и в голову не приходило, мне хватало вполне освящённых церковью забав с хо-

лодной, как покойница, супругой. Да, я в то время готов был переселиться в избушку кладбищенского сторожа, чтобы вообще с кладбища не вылезать, да, у меня порезы на руках не успевали заживать – но чтобы обольщаться сомнительными достоинствами мертвецов... Да идиоты! Когда кто-нибудь из рыцарей днюет и ночует в конюшне, про него почему-то не говорят, что он справляет грех с кобылами.

Поднятых трупов непосвящённые жутко боятся – никогда не понимал, с чего бы. При дворе болтали об оживлении, о том, что трупы вождедеют к живым женщинам, что будто готовы разорвать на куски и сожрать каждого, кто их увидит... Ну не бред?! Ничего они не хотят, тем более всяких любовных глупостей. И есть не могут: как они, интересно, переварят пищу, мёртвые? Поднятый труп – просто машина, часового механизм, который заводит Дар, марионетка, которую я дёргаю за ниточки. Некромант может им управлять, руководить, но сам труп – просто вещь, как любая вещь. Душа его уже далеко, и на душу это никак не влияет, как на голову живой девицы не влияет то, что из её остриженных волос сделали шиньон и кто-то его носит.

Нет, кусаться труп можно заставить. Зубы же у них есть, если при жизни от старости не выпали. Только мертвецу ведь всё равно, терзать кого-то или репку сажать. Мёртвым телом, как мужики говорят, хоть сарай подпирай. Но простые объяснения никого не устраивают. Всем кажется, что некромантия – дело страшное и таинственное, поэтому даже самые

обычные процедуры в ней тоже таинственные и страшные. А в страшные сказки верится легче и охотнее, чем в будничную быль.

Некромантия считается злом. А по мне, любое знание, хоть тайное, хоть явное, – не зло и не добро. Оно как меч, смотря кто его держит и против чего направляет. Убить можно и молитвенником, если умеючи взяться. Но это рассуждение граничит с ересью, поэтому никто и никогда не принимал его в расчёт.

Меня окончательно окрестили Кладбищенским Грифом. И всё время норовили намекнуть, что от меня мертвечиной несёт. А может, иногда и несло... бывало, придёшь на расвете, вымотанный, будто на тебе поле пахали, руки болят, голова чугунная... завалишься спать в башне в чём есть – и когда потом идёшь мыться и переодеваться, то действительно не розами благоухаешь. Но ведь кто чем занят! От мужиков навозом пахнет, от рыцарей – лошадьми, от егерей – зверинцем, от ловчих – псиной – и никто им этим в глаза не тычет. Только я ведь некромант! Я оскверняю могилы! Я нарушаю благородный покой умерших! Я – святотатец!

А они – святые.

Честно говоря, я не слишком ко всему этому прислушивался. Я занимался тяжёлой, запредельно грязной работой и чувал, что когда-нибудь это очень и очень пригодится. Просто знал. И делал. И всё.

А то вот ещё вспомнил – забавно. Помню, зимой – мне

восемнадцатый год шёл – кладбище замёрзло, поднимать из-под снега тяжело и холодно, так я не постоянно там ошивался. Находил себе занятия в тепле, чтоб и в сосульку не превратиться, и опыт не растерять. Так вот эти ослы из ночного патруля меня увидали – как я поднял скелет из-под половиц в нежилом флигеле и заставляю его плясать. Ух, какие были глаза у дуралеев! С яблоко. Странно, что вообще не высокочили.

Потом от меня неделю все придворные шарахались, как от чумного. А Бернард мне рассказывал, что болтают, злил меня, смешил... А я только радовался, что поднял такой старый труп: сложно сделать так, чтоб он не рассыпался по дороге. Весёлое было время... Вот как раз тогда примерно Розамунда родила.

Сына. И его, натурально, назвали Людвигом. Я был против, но меня никто не спрашивал. Как водится.

Мне его показали один раз и унесли, будто я могу его перепачкать взглядом. Чистенький младенец. Без меток проклятой крови.

Двор ужасно радовался. Господь милостив, чудо явил: у младенца все достоинства благородных предков и прекрасной принцессы – совершенно без моих недостатков. Не зря они все молились и старались. Праздники продлились две недели, денег бухнули – как на серьёзную войну... Столичная голь перепилась на дармовщину, орала «Слава принцессе!»... Меня вычеркнули.



Я не участвовал. Да меня и не приглашали.

После родов моя прелестная супруга меня в опочивальне принимать не могла: поправляла здоровье. Ну и слава Господу. Я к ней днём зашёл. Принёс ветки рябины с замёрзшими ягодами и сосновые ветки. На удачу. Она это всё швырнула на пол и сказала, чтоб я убирался к своим гнилым друзьям на кладбище.

И я убирался к гнилым друзьям. И неожиданно обзавёлся настоящим другом.



Ночь, помню, стояла морозная: дышать больно, всё внутри смерзается. Полнолуние. Красиво так: снег блестит, как парча, деревья все в инее, памятники на могилах тоже в инее, этакое парадное убранство. Я ещё подумал: будто важных гостей ждём. Как в воду глядел.

Важный гость вышел из тени старого склепа и ко мне... не пошёл, нет – потёк, поплыл, как хотите. Так ходят кошки, змеи ползают, но люди так не передвигаются, точно... Я моментально сообразил, с кем имею дело: Дар на него отозвался, как струна на камертон, чистым, точным, нежным звуком.

Я стоял, – сердце рёбра ломало, – задрал подбородок, руки скрестив, ждал, когда он приблизится. А он поклонился так, что снег обмёл локонами. Потом поднял голову – и я с ним

встретился взглядом.

Тёмные горящие рубины. Всевидящие очи Князя Сумерек.

Я протянул руку, – ни в чём не был уверен, но блюл ритуал, – и он обозначил поцелуй. Руки у меня замёрзли, без перчаток, чтоб чужая кожа не мешала в работе, но уста у него были холодней самого мороза, холодны смертным холодом. И в меня влилась его Сила через это лобзание: если мой Дар похож на бушующий адский огонь, то его Сила показалась чем-то вроде ледяного ветра, втекла в мою душу, смешалась...

Я тогда почувствовал такое запредельное блаженство, что закричать хотелось. И такую мощь, что, кажется, резани я сейчас запястье – всё кладбище встанет, а заодно призраки, демоны, нечисть ночная, в ком больше мёртвого, чем живого... все преклонят колена. Меня в жар бросило, несмотря на мороз.

И тут он молвил – голос низкий, нежный, медовый, до самого сердца:

– Я вас приветствую, ваше высочество. Сумерки вас приветствуют. Моё имя – Оскар.

У меня в горле пересохло. Еле выговорил: «Здравствуйте, Князь».

А он продолжает:

– Мы давно видим вас за работой, ваше прекрасное высочество. Вы до сих пор не обращались к Господам Вечности,

занимаясь другими, безусловно, более важными делами, – и я взял на себя смелость привлечь ваше просвещеннейшее внимание к вашим неумершим подданным. Покорно прошу простить меня.

Я тем временем взял себя в руки, отдышался – и говорю:  
– Я рад, что вы со мной заговорили, Князь. Это у меня промашка вышла. Мне давно надо было побеседовать... с кем-нибудь из ваших... товарищей. Но я только пытаюсь учиться...

Тогда Оскар мне улыбнулся, как люди никогда не улыбались, кроме Нэда, может быть, и сказал:

– Ваше высочество, вам не в чем себя упрекнуть. Вы юны, а в городе нет ни одного некроманта, который мог бы хоть отчасти помочь вам в постижении тайн вашего Дара, к тому же, насколько нам известно, смертные весьма мешают вашим поискам сокровенного знания. Я – один из старших Князей Междугорья – покорнейше прошу вас, ваше высочество, позволить мне чуть-чуть, в меру моих скромнейших сил и ничтожных познаний, возместить вам отсутствие наставника-человека...

Как я его любил в тот момент, как был ему благодарен – нет слов описать. Я бы ему на шею бросился, не будь он таким невероятно церемонным. Милый Оскар, замечательный неумерший, просто вот так пришёл и подарил. Мне так редко делали подарки – я бы отдался чем угодно.

Я ему сказал:

– Дорогой Князь, я буду счастлив воспользоваться вашим предложением... может, я могу что-нибудь для вас сделать?

Оскар тряхнул тёмными кудрями, улыбнулся. Только клыки в лунном свете блеснули, крохотные кинжалы, отлитые из сахара.

– Ваше высочество, ваше общество и ваше доверие – такая неопишимо огромная честь для меня, а близость вашего Дара – такое редкое наслаждение...

Тогда я подумал: он хочет греться моим огнём. Нормальное желание – погреться. Я ему это с удовольствием устрою. Я это очень хорошо понимаю.

И в его речи нет никаких двойных подкладок. В любом трактате по некромантии подчёркивается: мёртвые не лгут. А неумершие не лгут своим сюзеренам.



Потом много болтали, что я поил вампиров кровью детей своих врагов. Ещё одна глупая ложь, и распространить её мог только олух, который ни малейшего представления не имеет, что за существо такое – неумерший. Вечные, конечно, называли себя моими вассалами, но были-то ими чисто номинально. Я сильнейший некромант на территории государства, в котором они обитают, поэтому теоретически их государь. Но я им никогда не приказывал.

Трупам нужно только приказывать, демонам можно при-

казывать с оглядкой на казуистику Той Самой Стороны, иначе твой приказ тебе же и выйдет боком, а мелким тварям вроде упырей имеет смысл приказывать, повышая голос. Но совершенно невозможно приказывать Вечным Князьям, Господам Сумерек. Это всё равно что попытаться приказать смерти, кого ей забрать, а кого оставить.

И с тем же успехом.

Единственный настоящий король вампиров – судьба. Они слушаются только её и только по её указаниям, скрытым от смертных, выбирают жертву. И пытаются поить вампира чьей-то кровью по своему произволу – всё равно что предложить вассалу из древнего и славного рода переспать с чьей-нибудь чужой женой по твоему выбору. Выйдет совершенно одинаковая реакция: делать это они, разумеется, не станут, зато оскорбятся в лучших чувствах и уж, во всяком случае, не будут после этого хорошо к тебе относиться.

А мне хотелось, чтобы неумершие меня любили. Слабая компенсация за нелюбовь людей. Поэтому я из кожи вон лез, чтобы не сделать какой-нибудь неловкости – и не делал. Только то, что они принимают. Только то, что им нравится. И они выражали признательность очень приятным образом.

Сидишь, бывало, в обществе Оскара и пары-тройки младших вампиров из его клана в кабинете, у камина. На их ледяных лицах пляшут отсветы огня, и в очах у них – тёплые искры, и позы расслабленные, как у пригревшихся кошек. Если прищуриться и не обращать на Дар внимания, то будто

с людьми болтаешь. Хорошо.

Оскар не первый раз за своё четырёхсотлетнее бытие имел дело с некромантами. И общался с ними, и тайное знание изучал, так что опыт имел немалый. Вот разве что дружил нечасто. А я ему приглянулся – и он меня учил таким вещам, в которых книги не подмога: направлять Дар, прикрываться им, распределять... превращать остриё Дара в клинок для точного удара или в несущуюся волну, если нужно сражаться с толпой или поднять несколько трупов. Он чувствовал по-другому, но когда начинал показывать – я понимал моментально. И для меня каменная стена древнего знания, о которую я колотился башкой уже несколько лет, сначала стала прозрачной, а потом постепенно начала таять и сходить на нет.

И ещё: вампиры меня усиливали. За то, что я их грел, они несли мне Силу, которую собирали смертями, а я эту Силу впитывал и наполнял ею Дар. Дурацкий ошейник на мне почернел и оплавился, но этого никто из батюшкиных людей не замечал. Ошейник и ошейник. На месте, не избавился я от него – значит, всё в порядке. Что им, в самом деле, разглядывать меня, что ли...

В городе обо мне болтали, что я брал вампиров в постель. Ну это ж святое! Меня вообще сватали со всеми силами, с которыми я имел дело. Кроме, кажется, драконов – да и то по причине слабого воображения. Надо же объяснить, как развлекается мужчина, который не шляется по непотребным

девкам – тем более мужчина с моей славой. Никто же не знал, что меня при мысли о постели просто мутит после супружеской-то спальни. В общем, мои прегрешения с неумершими – это тоже неправда.

Даже не знаю, к сожалению или к счастью.

Вампиры не делят ложе с живыми, а уж с некромантами в особенности. И тем и другим это одинаково неприятно, как если бы уложить в постель ледышку и головню. Любви не выйдет – будет больно.

Правда, мои неумершие подданные, существа очень чувствительные к одиночеству, мне сочувствовали и старались меня приласкать на свой лад. Главное проявление нежности, преданности, благодарности и всего остального у вампиров – поцелуй. Они мне руки целовали. Потом, когда я уже осмелел и освоился с ними, я иногда позволял Оскару – но только Оскару, самому верному, самому близкому ко мне и самому старшему – поцеловать меня в шею, в то место, где кровь бьётся под кожей. Выражение запредельно полного доверия, величайшего, на которое только способен человек, общаясь с неумершим. Опасное удовольствие. Он чуть прикоснётся устами – и я чувствую, как Сила прошибает насквозь, будто молния.

Я для старого вампира был талантливый мальчик, воспитанник, и ему это импонировало. Мы с Оскаром действительно очень близко сошлись – насколько вообще смертный может дружить с Вечным, не теряя достоинства. Смешно

сказать, но дружба вампира – штука не менее рискованная, чем его неприязнь. Я знаю: Оскар не плёл никаких интриг... но его иногда заносило. Как-то раз, например, он предложил мне своей крови: заключить братский союз.

Соблазн меня чуть не убил. Я спать не мог, не только губы – руки себе в кровь искусал, размышляя. Хотелось невероятно. Но я отказался.

Прими я этот подарок – принял бы вместе с колоссальной мощью и зависимость от Сумерек. Как бы ни был силен некромант, а Сумерки в конце концов всё равно согнут его под себя. И всё: ты уже вне мира людей.

Я не мог отказаться от людей.

Я не питал иллюзий: люди ненавидели меня. А я... не знаю, уж наверняка не любил их – но меня к ним влекло, как магнитом. И я всё время ловил себя на мысли, как буду использовать Дар, когда стану королём. Как человек. Для людей. Для своего Междугорья, а не для Сумерек. Так и объяснялся с Оскаром.

Оскар меня понял. Огорчился, но не настаивал. Вампиры независимы и тактичны. Он даже не прекратил делать мне маленькие любезности.

Мне, например, нравилась Агнесса, одна из его младших учениц. Девы-вампиры обычно выглядят опасно, дико, как стихия, облечённая плотью, а Агнесса была тихонькая, лицом нежная и с прекрасными кудрями цвета тёмного янтаря, волнистыми, как руно, длиной по самые бёдра. Оскар знал,



что она мне нравится, и брал её с собой. И мы, бывало, сидели в креслах у огня, а Агнесса устраивалась на низенькой скамеечке около меня. Клала головку мне на колени, и я её волосы перебирал.

Она совсем юная была, Силу имела такую прозрачную, еле заметную, как струйка позёмки при слабом ветре... Отвлечёшься – кажется, что рядом живая девушка. А вот поднимет головку – очи вроде тёмных вишен, и лик фарфоровый, белый, прозрачный, неподвижный, прекрасный, но неживой – так вся иллюзия и пропадает. С ней мы не были близки, само собой, но чуть-чуть друг друга грели. Спустя небольшое время мой Дар сделал её одной из самых сильных дев в клане Оскара – за её нежную дружбу.

Так что вампиров я отстранённо и осторожно, но всё-таки любил. От неприкаянности. И за то, что они видели моё внутреннее естество, а не пытались судить по жалкой внешности. И через некоторое время я отлично их понимал. Они тоже зов моего Дара слышали, где бы ни были.

Я бы пригласил их к своему двору, но.

Одна из главных заповедей неумерших: Сумерки кончатся с рассветом. Вампиры в человеческую политику не лезут. Одно дело – личная симпатия, а другое – служба. Вампиры не служат. Я только надеялся, что в критический момент смогу позвать, и они придут на помощь из симпатии.

Тоже совсем неплохо.

Ведь их дружба уже приносила мне немалую пользу. И да-

же через некоторое время от их Силы, от их прикосновений кожа у меня на морде выравнилась, прыщи исчезли, как вымерзли. Намного красивее я не стал, но мне и этого было довольно для скромной радости.

Обо мне, конечно, начали болтать, что я, мол, душу продал за сомнительные изменения своей мерзкой наружности – но я уже не удивлялся и не злился. Послушать горожан, так у меня целая куча душ имелась на продажу. И я просто занимался своим делом, не обращая внимания: собака лает, ветер носит. На этом меня и застали те события... которые, как говорится, меняют лицо государства.



Папенька мой, здоровый, как бык, болел чрезвычайно редко. И, наверное, поэтому был невероятно мнителен. Стоило ему слегка простудиться или съесть чего-нибудь неудобоваримого – тут же отправлялись гонцы в монастырь Святого Ордена в Полях, где жил его духовник, а все лекари, знахари и прочие шарлатаны поднимались по тревоге. Такие приступы ипохондрии повторялись примерно раз-два в год и меня не тревожили. Я не сомневался, что жизненных сил у батюшки хватит на то, чтобы портить мне кровь ещё достаточно долго.

Что бы обо мне ни болтали, убить отца я был не готов. Ради власти, ради трона, из мести, для пользы короне, нена-

видя его, презирая – не готов был, и всё. Единственный момент, когда я сделал бы это без колебаний и угрызений совести – это когда папенька, не слушая меня, приказывал казнить Нэда. Но тогда я не смог – а теперь... не думалось об этом.

Откровенно говоря, я ожидал, что батюшка проживёт ещё лет десять-пятнадцать. Что я тем временем буду спокойно учиться, копить силу, оценивать обстановку – и, надев корону, сразу превращу Междугорье в величайшее из государств мира. Я чертил вокруг своих тарелок восьмиугольную звезду, оберегающую от яда, и надеялся избежать стрелы и кинжала в спину. Мне вроде бы было обещано, что хоть один день, да я посижу на троне, но я перестраховывался.

Только человек предполагает, а Господь располагает.

Папенька приболел в конце моей вампирской зимы. Я ещё ничего не успел.

Во дворце начался обыкновенный бедлам, появилась толпа священников, повсюду бегали лекари с банками, пучками трав, горчичниками и прочими припарками, нищим раздавали милостыню, дамы в ужасе рыдали, кавалеры ходили на цыпочках и говорили шёпотом.

Поскольку вампиры нутром чувствуют дыхание Предопределённости, я спросил Оскара, не собирается ли кто из неумерших отпускать моего батюшку. Спросил просто на всякий случай и для очистки совести. И Оскар ответил очень категорично, что душа государя проводника к Божьему пре-

столу не звала, а потому мой порфиноносный отец в высшей степени скоро встанет на ноги.

Я даже порадовался в глубине души.

Но тут явилась тень Бернарда с докладом. И доклад привёл меня в отчаяние.

– Папенька-то ваш сегодня утром проснулись – ан грудку у них и заложило. Кашель напал – страсть. А прокашлявшись, они, вестимо, послали за лейб-медиком и так изволили гневаться... Ты, кричали, такой-сякой, у меня чахотка начавшись, а тебе и нуждочки нет... Ему уж все округ в один голос поют: государь, мол, батюшка, какая может быть чахотка, чай, ветерком в горлышко дунуло – а он всё на своём. Умираю, мол. И послали за духовником.

– Он, значит, завещание составил? – говорю.

– Истинно так, ваше драгоценное высочество. Истинно составил. Розовый Дворец с пшеничными полями – вашей маменьке, Медвежью Башню с охотничьими угодьями – дядюшке, Скальный Приют и винограднички – супруге вашей. Медовый Чертог – вашему братцу двоюродному. Озёрный Домик – младенчику, когда тому шестнадцатый годок пойдёт. Сокровища – прочим родственничкам по малости. Рубиновый венчик с алмазной звездочкой...

– Погодите, – говорю, – погодите, Бернард. Мне, значит, по этому завещанию полагается по миру с сумой побираться? Я ничего особенного не ждал, но чтоб так явно и неприлично...

– Вам – городской дворец, что нельзя никому передать, кроме как старшему в роду. Библиотеку, уточнили, вам – особенно. Короны-то батюшка ваш раздали, а об вас, ваше высочество, так изволили сказать: коли ему корона нужна, пусть свою заказывает али из мёртвых костей себе соберёт. Коли, молвили, ему дрянные-то книжки любее бриллиантов, так пусть себе книжками блеск престола посильно обеспечивает. В одно слово так, ваше высочество.

– Понятно, – говорю. – Благодарю вас, Бернард.

– Так ведь не всё ещё, ваше высочество.

– Всё уже понятно. Что ещё-то...

– А когда они диктовать-то кончили, грудку-то у них, видно, полегчило. Так они изволили улыбнуться и молвить, что, мол, коли они, паче чаянья, останутся на белом свете жить, то уж станут Господу угождать. На Святой Орден пожертвуют да прикажут, чтоб остроги отомкнуть и колодников-то на волю выпустить, а также и каторжников, что руду добывают... А потом поразмыслили в уме своём и добавили, чтоб не всех, конечно, колодников, а тех только, кто государя не хулил и в предосудительных чтениях не замечен. Коли проще сказать – воров да разбойничков... Маменька ваша изволили прослезиться от умиления, а иные-прочие крепко призадумались...

И я тоже крепко призадумался. Я просто сел и обхватил руками голову, которой хотелось биться об стенку. Жалел только, что нельзя настучать об стенку башкой кое-кого дру-

гого — чтобы в трещины ума вошло.

Я слишком хорошо знал, какая у нас в Междугорье обстановка с разбойным людом. На Советах об этом не слишком много болтали, зато в частных беседах только так чесали языки. От лесной вольницы житья не было, а бригадир жандармов, по слухам, брал с воров налог на право спокойно работать. А когда по папочкиному проекту тысячи этих бедняжек, которых неким чудом удалось-таки заставить вкалывать на благо короны, выйдут на волю, голодные и злые...

Если король-отец поправится.



Я не хотел его убивать. И уж во всяком случае, не наслаждался происходящим. Но меня припёрли к стенке.

Пропади оно пропадом, моё наследство. Мне в любом случае не светило получить много. Но меня грызла мысль: что если он выздоровеет, распустит в стране воруя, а после этого свалится с коня или ещё как-нибудь сыграет в ящик? Что я тогда буду делать? Мне же и так остаётся не государство, а загаженный свинарник, у меня и так будет непочатый край работы и нечем платить исполнителям, да ещё и разбойников я получу на свою голову?

О, если бы я мог решить, что это его каша и ему её расхлёбывать!

Не получалось. Я слишком хорошо знал, что мой батюшка

не расхлебает. И что, пока жандармерия возится с ворьём, кто-нибудь умный элементарно на нас нападёт и в очередной раз откусит кусок нашей территории. И на это снова будет Божья воля.

Меня просто в узел скручивало от этих мыслей. Я двое суток не мог спать, не мог жрать, и всё валилось из рук. Я ждал, что будет. В глубине души я надеялся, что батюшка одумается, когда у него спадёт лихорадка.

Не одумался. Через эти двое суток он сидел в большой приёмной, сияя, как надраенный медный пятак. А вокруг на него любовались обожающие придворные.

А батюшка вещал:

– Вот что значит – Божий Промысел! Государь должен быть милосерд, и для осуществления милосердия мне оставлено моё земное существование!

А я думал: лучше бы ты печной налог снизил и провинциальным сеньорам чеканить свою монету запретил. Из милосердия.

Я терпеть не мог говорить в толпе, но он не ловился с глазу на глаз. Поэтому я всё-таки сказал против всех своих правил:

– Государь, прошу нижайше, может быть, вы всё-таки ещё подумаете над этим решением?

На меня зашикали со всех сторон. А батюшка побагровел и взревел на весь зал:

– И ты смеешь мне об этом говорить, Дольф?! Ты, гриф могильный, жестокосердная тварь! У тебя, я вижу, всё внут-

ри переворачивается, когда кто-то желает угодить Богу и людям! Ты хоть одну минуту можешь не думать о зле, выродок?!

– Я хотел бы объяснить свою точку зрения, – заикаюсь. Я ещё очень хотел договориться. Но мне не удалось в своё время спасти Нэда. И теперь я не мог спасти... не дело некромантов – спасать.

У меня и вправду всё внутри переворачивалось.

А папочка сощурился, выпятил подбородок и процедил сквозь зубы:

– Ты думаешь, просвещённого правителя интересует мнение некроманта? Да я ночей не сплю от горя, думая, что ты наследуешь престол моих предков! Будь уверен, милый сын, я найду способ обойти закон первородства. Я написал письмо Иерарху Святого Ордена. Посмотрим, что он ответит.

Придворные захихикали. А я...

Меня это известие чуть с ног не сбило. Он завещает трон кузену. Или Людвигу Младшему, если ему Иерарх присоветует. А мне придётся узурпировать власть, свою собственную корону – через кровищу и ещё неизвестно что... если меня не зарежут, когда буду в очередной раз ночью возвращаться с кладбища.

Справедливость и милосердие.

И я посмотрел ему в лицо. А он крикнул:

– Да я сегодня же подпишу приказ об освобождении!

И тогда я собрал Дар в луч, в тонкий клинок, почти в спи-



цу – и воткнул ему в горло. А потом провёл ниже, к груди, где ещё чувствовал остатки его простуды, как красное горячее пятно. У меня на душе было скверно.

И мой бедный батюшка захрипел и начал кашлять. К нему все бросились, лекари прибежали, притащили какие-то тазы, тряпки, а он всё кашлял, задыхался от кашля, захлёбывался – кровь пошла горлом, а он кашлял, кашлял...

Мне хотелось сбежать из этого зала, спрятаться где-нибудь и отреветься, и кусать пальцы, и проклясть и Дар, и мою детскую просьбу Той Самой Стороне, и мою поганую судьбу... Но я стоял и ждал.

Меня подтолкнули в спину, и я преклонил колена, и отец смотрел на меня бешено и кашлял, и на губах у него выступила кровавая пена, раздувалась пузырями, а он хотел меня проклясть, но не мог – я заткнул ему рот этим кашлем.

И он показывал на меня дрожащей рукой, и все кивали, а он уже не кашлял, а хрипел. А потом глаза у него закатились и помутнели.

Потом я стоял на коленях возле трупа и плакал. Навзрыд. Над отцом, над Людвигом, над Нэдом – и никак не мог остановиться. И все стояли вокруг кольцом и молчали, потому что тот предсмертный жест короля можно истолковать как угодно, а приходилось толковать в мою пользу, потому что отец тоже ничего не успел.

И я ощущал ненависть двора всей спиной, но мне было всё равно. Наверное, если бы в тот момент кто-нибудь захо-

тел меня убить, у него бы это вышло. Не знаю. Никто не попытался.

Все были в каком-то столбняке.

И тогда я сказал:

– Мой несчастный отец ошибся. Его решение было не угодно Богу. Поэтому приказа не будет. Позовите монахов, надо позаботиться о теле.

В гробовой тишине кто-то нервно хихикнул. И я подумал, что он, наверное, сейчас представляет, как я поднимаю труп короля. Может, сплясать его заставить?

И тоже вдруг почувствовал, что меня душит хохот. Истерика.

Я щёку изнутри прокусил до крови, чтобы успокоиться. И у меня был крови полон рот, когда я сжёг Даром свой дурацкий ошейник. А батюшкин ближний круг стоял и смотрел, как освящённое серебро пеплом рассыпалось, с моих плеч сыпется, и как я отряхиваю этот пепел, а он жжёт мне руки.

Я сплюнул кровь – и все посмотрели на красный плевок на полу с ужасом. И я сказал:

– Я – некромант – наследую престол. И приказываю позвать монахов. Слышите?!

В этот раз они расслышали.



Похороны утомили меня до полусмерти, все силы вытя-

нули.

Погода, помню, стояла мерзкая, тяжёлая такая оттепель, пасмур, сырость, грязь... Тучи прямо на башнях лежали, мокрый снег валил, и воздух был пропитан влагой, как губка... на виски давил. И вся эта мрачная суэта...

Маменька ко мне приходила, плакать и молиться. Бранила меня на чём свет – грозилась в монастырь уйти, но не ушла, уехала в дарёное имение. За ней её имущество везли на целом караване повозок. Ей вроде бы теперь полагалось всю жизнь в трауре ходить, но она свои церемониальные тряпки и украшения прекрасно забрала с собой. Несколько сундуков с золотом, бриллиантами и прочим подобным. А нищим опять кидала медяки из кошель, милосердная моя...

Розамунда очень официально попросила у меня разрешения уехать с моей матерью. Сухо, но вежливо.

– Я полагаю, государь, – сказала, а слово «государь» выделила красным, как в летописи, – что младенцу будет полезнее деревенский воздух. Если, конечно, вы не станете возражать.

Я не стал. В этом был резон. Воздух во дворце действительно...

Я даже не то имею в виду, что отчаянно разило заговорами всех мастей и что мне никто не рвался прийти на помощь – ни канцлер, ни казначей, ни церемониймейстер. Разве только у камергера вроде как совесть проснулась, или он, быть может, перепугался до спазм в животе: простыни мне

стали чаще менять, камины топились нормальными дровами, коптить перестали. Даже манжеты с воротниками мне теперь крахмалили по-человечески, а не так, как раньше. Но это мелочи.

Я говорю о том, что спать попросту боялся. Раньше, будучи принцем, не боялся, а теперь был уверен: непременно попытаются прикончить. Смешно было бы, если бы не попытались. Нереально. Но я никого не мог взять в спальню, чтобы согреться живым человеком рядом, и никому не доверял, а гвардии не то что свою жизнь – пустую скорлупу не доверил бы. Вся дворцовая гвардия была куплена – к бабке гадать не ходи. В розницу. Всеми, кто имел хоть воображаемую тень прав на престол.

Верный мой Бернард ничем мне помочь не мог, он даже пугнуть бы никого не мог, невидимый для большинства смертных. Если только разбудить меня, но это же не всегда решает дело: в драке я никогда не отличался, и владеть оружием меня не учили, а Дар спросонья не применишь. Обращаться к Оскару я не посмел. Как-то неловко показалось: Князь, всё брось, беги меня охранять, так, что ли? Он ведь и так ко мне пришёл той ночью, когда отца бальзамировали. Пытался утешать, поцеловал... Милый друг, утешение метели, нежность мороза...

Было моментальное искушение взять Агнессу. Не посмел. Подумал, что непременно захочу дотронуться, дойдёт до поцелуев – и всё, охраны не потребуется. Зачем охрана немерт-

вому государю...

Не стал рисковать.

Решил играть наверняка: устроить себе охрану довольно радикального толка. Привёл двор в такой ужас, что светские кавалеры не могли шляпы носить: волосы дыбом стояли.

Я поднял шестерых свеженьких светских мальчиков, убитых на дуэлях. То есть таких, которые умели держать мечи, с гарантией. Привёл их во дворец... впервые держал сразу шестерых, думал, будет очень тяжело – но нет, вышло чётко, чувствовал их, как собственные пальцы. Провёл их по всему дворцу – челядь летела во все стороны опрометью, кто-то даже блеванул на пол – и поставил в караул. Двоих у дверей спальни, двоих у окон. Ещё парочку – патрулировать коридор. Земля была мёрзлая, сохранились они славненько и службу несли на зависть гвардии. Я их вооружил, стряхнул плесень с камзолов – очень симпатично смотрелись, если не приглядываться.

Но воздуха они, конечно, не освежали. Я велел открыть окна, но всё равно припахивали. Я уже давно привык, а вот дворцовая челядь...

Моя бельёвщица отказалась в спальню заходить наотрез, пока я оттуда караул не убрал. И то косилась. Но игра стояла свеч: в ночь перед коронацией я проснулся от шума за дверью. Выскочил в чём был – не успел: убийцы уже удрали. А из стражников пришлось кинжалы выдёргивать: их убили ещё по разику, для надёжности, но стояли они хорошо, да-

же защищали дверь. Неуклюже, да: я ещё не умел лучше. Но выиграла мне время. Молодцы.

К тому же утром я ещё пару стрел выдернул из тех, кто у окна. И подумал, что всё сделал правильно. Разве что одному моему вояке выбили глаз, и я дал ему отставку и уложил в могилу с почестями, а поднял новенького. Так, с мёртвой свитой, и вышел, когда сообщили, что меня ждёт святой отец.

Придворные мои замечательные, конечно, особенного восторга не почувствовали. Сразу схватились за надушенные платочки, и кто-то натошнил под ноги священнику, а кто-то кинулся прочь, натываясь на лакеев и колонны. Уже и коронация не нужна, на моих мёртвых ребяток смотреть не вмоготу. Троюродная тётушка в обморок хлопнулась: на казни ходила взглянуть, чтоб развлечься, а поднятые мертвецы ей невыносимы, нежной душе.

Мой духовник побледнел, сглотнул, позеленел и выдал вперемежку с тошнотой:

– Государь, да как же вы могли, перед всем двором, перед причтом – и вытащить такую погань?! Священный обряд – и рядом святотатство, осквернение могил...

Я хлопнул по плечу того дружка, на котором трупных пятен поменьше, а на втором задрал рубаху, чтоб показать дыру от кинжала, и говорю:

– А что мне остаётся, святой отче? Изрядная часть здесь присутствующих предпочла бы, чтобы вот эти дырки пере-

местились с его шкуры на мою. Но мёртвому-то всё равно, а мне пока что – нет. Каждый король выбирает себе охрану сам. Вот я и выбрал. Они, святой отче, меня предать не могут. Им нечем. У них душ нет. И я им доверяю.

И пока я это говорил, живые аристократы на меня смотрели бешеными глазами, непонятно, больше от ужаса или от ненависти. А священник оценил раны в мёртвом мясе, старые и посвежее, и только головой покачал. Но не нашёлся что ответить.

Так они меня и сопровождали в храм, а потом на главную площадь. Вместо гвардейцев. Шесть мертвяков в погребальном тряпье, прикрытом гвардейскими плащами. А народ глазел и, как говорится, безмолвствовал.

Ни одна живая душа не вякнула. И коронация прошла без инцидентов, и присяга потом тоже.

В гробовом молчании – но без инцидентов.



А после коронации и присяги наши отношения с двором забавно изменились.

Ясное дело. Раньше я был опальный принц, а теперь законный государь, какой ни есть. Мне присягнули. А это уже совсем другой коленкор.

Если раньше за моей спиной шипели и плевались, то теперь не смели. Теперь начали пресмыкаться. Выхожу утром,

бывало, поздно, потому что уже перед рассветом лёг, а мой камергер, змея, тот самый, растягивает рожу в улыбке, будто он мертвяк и ему приказали улыбаться, и поёт:

– Государь, вы прекрасны! Надеюсь, вы хорошо выспались?

Канцлер с премьером пол шляпами метут. Казначей все тридцать два показывает, глаза дикие, рожа выглядит чудовищно:

– Рад вас видеть, государь. Всегда к вашим услугам, государь.

Дядя, принц Марк, придет к визитным часам, руки раскинет, по-родственному, и пытается обозначить объятия, как вампиры поцелуи обозначают, не прикасаясь:

– А, дражайший племянничек! Ну, как ваши дела, дорогой Дольф, как вы поживаете?

А мой кузен, Вениамин, изящный рыцарь с шёлковым платочком за обшлагом, обниматься, конечно, не лезет, но улыбку делает и поклон отвешивает:

– Вы хорошо выглядите, дорогой братец.

А я слушал всё это слащавое враньё, и меня мутило. Мне за два дня эта проституция опостылела больше, чем их ненависть – за всю жизнь. И на первом же Большом Совете после коронации я решил расставить все точки над і.

– Я, – говорю, – господа, не питаю иллюзий насчёт вашей любви. И не принуждаю вас себя насиловать и говорить мне комплименты, в которые вы и на волосок не верите. Я не да-



ма на балконе, в сладких речах не нуждаюсь. Давайте лучше беседовать откровенно и по делу.

Как они загалдели! Смысл галдежа заключался примерно в следующем: вся беда в том, государь, что ваш батюшка был чересчур резко настроен. А то ваши верные подданные раньше выразили бы вам своё совершеннейшее почтение и преданность. Теперь вы у власти, и все ваши верные слуги могут сказать начистоту, как они вас любят и как всегда любили.

А я сидел в королевском кресле, слушал, как они подличают, и думал, что они, наверное, на самом деле не хотят обмануть меня и что-то этим выиграть. Они что, не в курсе, что я их знаю как облупленных? Я же не с неба свалился на трон и не из преисподней выполз, я всё тот же! Не может быть, чтоб они забыли, какая я недоверчивая сволочь. Они подличают просто по обычаю и из любви к искусству. А раз так – то пусть развлекаются и впредь.

Если смогут.

И я сказал:

– Мне подобает речь о преемственности власти. Так вот, подражать отцу – не буду.

И наступила тишина. А за улыбками проступили настоящие лица. Тех, кто меня по-прежнему ненавидел.

– Мне нужен отчёт о состоянии казны, – говорю. – О положении в провинциях, о налогах и податях, о стычках на границах. Не так, как раньше, а честно. Вы знаете: я – некромант. Мне служат Те Самые Силы. Я могу и прямо у них

спросить.

Их пробрало до костей. Я не так уж хорошо разбираюсь в людях, но у них заметно вытянулись лица. И побледнели. И глаза вытаращились. И, я думаю, каждый из них решил обезопасить себя от моего гнева.

А для этого при любом дворе существует проверенный способ. И они этот способ применили.

Они принялись поливать друг друга дерьмом. В таком количестве, что я просто диву дался.

Казначей не взял бы гроша из казны, и она была бы полнѐхонька, если бы канцлер его не принуждал. Канцлер всегда говорил, что на подкуп иностранных дипломатов и на прочую внешнюю политику требуются бешеные деньги, а сам купил замок на юге у разорившегося семейства и за год превратил его в райское местечко с фонтанами, оранжереями и оркестрами. А надёжный мир с соседями так до сих пор и не заключѐн. Более того: на границах пошаливают – и никто не гарантирует, что не нападут в самый неподходящий момент.

Канцлер потратил на замок деньги своей покойной тѣтки. И вдобавок оплачивал все дипломатические миссии из собственного кармана. Потому что премьер с казначеем делили бѳльшую часть королевского дохода между собой, а на остальные гроши нужно было как-то содержать двор. А если бы канцлер вместо премьера не занимался содержанием двора, то мои бедные родители с голоду бы умерли.

А премьер вынужден как-то откупаться от этих бандитов

– канцлера и шефа жандармов, у которых ничего святого нет. А самому премьеру есть нечего и дочери на приданое не хватает. А шеф жандармов берёт взятки с разбойников, бо́льшая часть которых – люди принца Марка, который дерёт с живого и с мёртвого.

А на границах безобразия, потому что мечи ржавые, лошади старые, а тетива на арбалеты идёт гнилая. И всё потому что маршал имеет обыкновение каждой своей девке дарить перстень с бриллиантом, а девок у этого жеребца бывает по три в ночь... Что ж касается банд с той стороны – то ещё никто не доказал, что они впрямь с той стороны, а не голодные дезертиры и уволенные со службы без содержания калеки, которым надо что-то жрать и которые грабят наших поселян под чужим флагом.

Я довольно долго слушал всё это и смотрел, как они вошли в раж, и машут руками, и оскаливаются, и брызжут слюной, и сулят кары небесные. Потом взрезал кулаком по столу.

Они, видимо, вспомнили, что я некромант, потому что, будь я просто король, им было бы плевать.

Но они вспомнили и притихли. А я сказал:

– Мы будем разбираться по порядку. И очередь дойдёт до всех. Поэтому не надо вопить. Успеете.

И пронаблюдал, как у них на мордах выступил холодный пот. Но они, по-моему, честно это заслужили.



Потом у меня было очень много работы.

Требования я имел самые скромные: мне хотелось порядка. Но это оказалось целью почти недостижимой. Мои подданные сопротивлялись мне изо всех сил, потому что в состоянии порядка очень тяжело воровать.

И самое противное, что я понял, взойдя на престол: казнь любого явного вора из Большого Совета ничего не решает. На нём так много всего держится, у него так много связей, что, если его убить, эти оборванные нитки придётся связывать годами. И мне приходилось...

Ох, мне приходилось...

Убеждать. Угрожать. Нажимать.

Я знал, я с раннего детства очень хорошо знал, что любовь подчинённых как средство предотвращения воровства не действует. Они обожали моего отца – и это им воровать не мешало. Даже помогало.

У короны или у Междугорья – всё равно. Потому что своя рубашка ближе к телу. Но я не мог им этого позволить: мне кровь из носу нужны были деньги.

Я плевать хотел на придворные пышности. Но я намеревался наладить дела внутри страны и вытряхнуть из карманов наших соседей то, что они у нас за сотни лет награбили.

И ещё я хорошо помнил, на что способен страх. И решил пугать их до ночного недержания. Чтобы им и в голову не пришло вякнуть.

Мне хотелось контролировать всё Междугорье, но оказалось очень непросто путешествовать: от меня шарахались лошади. Ну боятся они трупного запаха, что поделаешь. Для своих телохранителей я, в случае необходимости, поднимал палых лошадей. Но сам я не люблю слишком уж телесной близости с трупами – и для себя придумал кое-что получше.

Попросил Бернарда разузнать, кто в столице лучше всех набивает чучела охотничьих трофеев. И когда он мне сообщил, я за чучельником послал. Живого человека с указанием вежливо пригласить мастера во дворец.

Мужик пришёл. Приятный такой, помню, бородатый перепуганный дядька. На меня смотрит – и ноги у него подгибаются.

– Ва-ваше, – бормочет, – ва-ваше просвещённое величество... не представляю, чем могу...

Тогда я живых придворных из приёмной выслал. Всех, оставил только мёртвый караул в дверях. И говорю ему:

– Ты, почтенный, не нервничай. Ни о чём ужасном просить не стану. И если сумеешь угодить – хорошо заплачу. Ты мне скажи вот что. Было когда-нибудь, чтоб кто-то из знати тебя просил из простой зверюги чучело сделать повнушительнее? Для хвастовства?

Он посмотрел внимательно – и, похоже, понял.

– Это, – говорит, – вроде громадного волка, да? Или медведя больше человеческого роста?

– Вот-вот, – говорю. – Делал?

Он так осмелел, что даже ухмыльнулся.

— Ох и делал, ваше величество! Самых что ни есть страшных зверей. И клыки, бывало, вставлял в палец длиной, и когти делал железные... Случалось, как же...

— А мне, — спрашиваю, — сделать можешь?

Он уже в полную силу ухмыльнулся, даже про мертвецов у дверей забыл. Чучельник, свой человек — тоже со смертью дело имеет, сердце закалённое, спокойный малый.

— Позабавиться, — говорит, — желаете, ваше величество?

— Да, — говорю, — милый друг. Сделай мне вот что. Возьми вороных жеребцов... пару. Или трёх. И сделай мне из них чучело такого коня... пострашнее, повнушительнее. Можешь ему в пасть клыки вставить, можешь в глазницы — красные стекляшки, или там жёлтые, что ли. Копыта хорошо бы железом оковать... короче, чем жутче выйдет, тем лучше. Как тебе фантазия подскажет. Но чтобы на такого Тому Самому сесть было не зазорно. Заплачу пятьдесят червонцев, а если очень понравится — ещё и прибавлю.

Тут он совсем расплылся. На такие деньги при разумном подходе мужику год можно прожить.

— Может, — говорит, — ваше величество, у вас какие особые пожелания есть?

— Ноги ему надо будет сделать на шарнирах, — отвечаю. — Чтоб мало-мальски гнулись. А особое условие — только одно, но уж соблюди его непременно. Внутри должны быть кости. Настоящие кости настоящей лошади. А остальное — те-

бе виднее.

Он замучился кланяться, когда уходил. Похоже, вообще не ожидал живым выйти из моих покоев. Молва мне такую славу создала... но чучельник больше не боялся.

Работал неделю. А через неделю мне привезли конягу. На телеге, под парусиной.

Загляденье. В полтора раза больше обычной лошади. Густейшая грива до земли. Голова: череп с клыками, обтянутый шкурой, глаза красные, дикие. Во лбу – стальной кручёный рог. На груди и по бокам – в стальной кованой чешуе, как дракон. Копыта тоже стальные и раздвоенные, вроде козлиных. При взгляде оторопь берет. Я восхитился.

У меня денег было не в избытке, но я мужику сотню отдал, не пожалел. И пожаловал придворную должность – лейб-чучельник. Понял: он, точно, мастер. С выдумкой. И может мне ещё понадобится.

А когда он ушёл, я поднял чучело. Чучело – тот же труп, особенно если кости внутри. И жеребец прекрасно встал. Чудесный, не гниющий поднятый мертвец.

Я назвал своего игрушечного конька Демоном – для себя, конечно, ему-то кличка ни к чему, мешку с опилками – и теперь ездил на нём верхом. Когда моя свита в города въезжала, улицы пустели, такие мы были внушительные. Аллюр у моего вороного вышел такой механический, мерный, как у машины с пружиной – совершенно неживой, зато очень быстрый. Дивная идея: жрать ему не надо, отдыхать не надо,

увести никто не может, потому что движет его мой Дар. К тому же ни в какой битве подо мной коня не убьют, с гарантией.

Чтобы поднятого мертвеца уложить без Дара, его надо сжечь. Потому что даже если на части его раскромсать, части будут дёргаться, пытаться довыполнить приказ. Но неважно.



Так я обзавёлся личной лошадкой, и расстояния в королевстве для меня сократились вдвое. И я смотрел на свою страну.

Правда, и страна тоже смотрела на меня. Ужас летел впереди. Паника. У меня в свите были живые и мёртвые попеременно... хотя что это я болтаю? Мухи, если по чести, всё-таки были отдельно, а мясо отдельно: трупы – рядом со мной, а живые – поодаль. Я своих мёртвых гвардейцев периодически менял – зимой реже, летом чаще, но свеженькие меня повсюду сопровождали, потому что живым я, хоть они разбейся, не верил, не верил, не верил! Никакой их лести не верил. Знал, что никакой страх их не заставит говорить правду, когда речь идёт об их выгоде. А мёртвые не продаются и не врут, поэтому меня и сопровождали мёртвые, и Междугорье задыхалось от ужаса.

Я увидел провинции, о которых столичный свет не имел понятия, потому ближний круг был убеждён: Междугорье –



это столица. Я увидел провинции, до которых никому не было дела, и мне стало тошно. Я представлял, что всё плохо, но всё-таки был не готов к такому — а они так жили столетиями, и привыкли так жить, и им было не плохо, и не гнусно, и не страшно. Я им казался гораздо страшнее, чем их жизнь. Я был неожиданный и новый, а весь будничный ужас в их городах им присмотрелся. Идвигающиеся мертвецы, оказывается, для моих подданных страшнее, чем смерть близких.

Я увидел города, утонувшие в грязи и дерьме, подышающие от голода. И слышал от их бургомистров, которые зеленели от страха, когда встречали меня, что они платят мне налоги, которых я никогда не получал. Что с мужичья здесь дерут последнее, чтобы расплатиться со столицей — но, клянусь Богом или Той Стороной, эти деньги шли не в казну, а в карманы мелкой сволочи, говорившей от моего имени.

И я вешал мелкую сволочь и сообщал горожанам, сколько с них в действительности следует. Но они не верили и содрогались от страха. Они верили сволочи больше, чем мне: сволочь была своя, живая, тёплая, понятная, в отличие от государя-чудовища. И потом обо мне же говорили, что я не знаю пощады даже к своим собственным верным слугам.

Я насмотрелся на казни моим именем и на произвол моим именем. Приказал запороть кнутом до смерти судью, который творил что хотел, ссылаясь на мои несуществующие указы. Но он был сущим воплощением справедливости в глазах здешней толпы, а я как был, так и остался тираном и кош-

марным сном.

Я не мог бросать им медяки – мне это претило. Я хотел понизить цену на хлеб. Я запретил баронам чеканить свою монету и наживаться на разнице курсов. Запретил под страхом четвертования взвинчивать цену на зерно в неурожайное время. Уже через два года пуд муки стоил полтину серебром. Но халявы из королевских рук мои подданные не получали, вдобавок я был страшен, я был – ужасная сказка... поэтому в отношении народа ко мне ничего не изменилось. И все нежно вспоминали моего отца.

Я ненавидел ворьё. Не только тех, кто воровал у короны, но и тех, кто грабил по большим дорогам. В Междугорье краденое было дешевле купленного, а воровать было выгоднее, чем работать, и меня это бесило. Мои патрули – живые и мёртвые – рыскали по лесам и горам, следя за порядком и наводя смертельный ужас на разбойников, а заодно и на пострадавших. Ворам, попавшимся на деле и отправленным добывать руду и уголь или мостить дороги, сочувствовали. Мне – нет.

За два года я четырежды заказывал моему вороному новые копыта, потому что старые стирались до шкуры. И Междугорье меня хорошо узнало.

А я хлебнул дурной славы полной ложкой.

Моя страна мечтала от меня избавиться. А я мечтал сделать из неё великую державу.



За эти два года в шкуре моего вороного появилось три дырки от стрел. В моей шкуре – одна, под правой ключицей. Мои мёртвые гвардейцы нашли лучника: нюх на смерть у них как у гончих. Им оказался наёмник – ему заплатил очередной вор аристократической крови, меня оценили в золотую десятку. И я повесил того, кто заплатил, а того, кто стрелял, отправил на каторгу, хотя все мои живые советники утверждали, что справедливее сделать наоборот.

А у меня была своя справедливость. Уроды жалели того, кто казался им ближе по духу. Того, кто предпочёл заплатить за грязную работу. Сочувствовали трусости и подлости, от которых меня мутило. Потому что если бы имели чуть больше храбрости, то тоже искали бы, кому заплатить за меня.

А город смотрел на казнь так, будто казнили героя.

Зато я избавил от сожжения в корзине с чёрными кошками старого некроманта, может быть, последнего в стране, кроме меня. Дед и так еле дышал, его Дар почти иссяк, его сделали калеккой на допросах – и к тому же он обвинялся в тех же проступках, которые совершал и я. Только куда мельче.

Остатками Дара он поднял пару трупов, чтобы они помогли ему по хозяйству. Что ж говорить о моей работе?!

Мне хотелось, чтобы старик дожил остаток дней в покое и тепле. Бедолага так трогательно радовался, – он, похоже,

слегка впал в детство – что я не смог его бросить. Я приютил его в столичном дворце, в комнате около библиотеки, и приказал кормить его как следует и топить его жильё, не жалея дров.

Разумеется, ничего, кроме болтовни горожан про свояка, который видит свояка издалека, я не ждал. И об этом болтали, само собой. Но расчувствовавшийся старикан сделал мне подарок.

Он не очень хорошо понимал, кто я такой. Называл меня сынком, что никак не годится для обращения к королю. Но последними крохами Дара он чуял во мне некроманта. Именно поэтому и поручил мне своего ожидаемого питомца.

Сначала я думал, что дед бредит. Но когда прислушался, разобрал в его шамканье некую логику. Старик где-то достал яйцо виверны. Он надеялся, что она выведется и станет охранять его жильё, но не успел догреть яйцо.

Насколько я помню, виверны вылупляются через три месяца и три дня с момента яйцекладки.

Так вот, дед не успел, и теперь его заботила судьба создания, которое только собиралось родиться на свет. Яйцо хранилось у него в камине. Оно почти остыло, когда мне его доставили. Я не надеялся, что виверночку удастся спасти. Но всё-таки переложил яйцо в свой камин.

И, к моей и стариковой радости, через две недели она вылупилась.

Будь у деда яйцо дракона, в еле тёплой золе зародыш, ко-

нечно, погиб бы. Но пламя, которое извергают самки виверны, настолько слабее драконьего пламени, что тлеющие угли его вполне заменили. Так что крошка выжила, а я обзавёлся роскошным домашним животным.

Пока виверна была маленькая, она ещё летать не умела, бегала за мной повсюду, как цыплёнок за наседкой. Бегала и топала, Лапочка. Так мы с Оскаром её называли. Он, оказывается, раньше виверн видел только издали, а ручных – и во все никогда. Редкие звери... Честное слово, я не могу взять в толк, почему это прелестное создание так пугало придворных. Очаровашка горной породы, золотисто-зелёная, с двумя, как у всех виверн, когтистыми орлиными лапами, которые уморительно цеплялись за ковры, с перепончатыми крыльями, шипастыми на сгибах, и длинным хвостом, который тоже кончался шипом. Не ядовитым, кстати, что бы ни болтали невежды. И славные круглые глаза топазного цвета, с вертикальным зрачком, как у змеи. Страшно любила, когда ей чешут подбородочек. Они, между прочим, теплокровные, виверны. Тёплые и гладкие, на ощупь вроде полированного агата, и гладить их – сущее удовольствие. Дед в нашей Лапочке души не чаял, всё учил меня за ней ухаживать, и мои неумершие друзья тоже относились к малютке очень нежно. А для меня это было редкое наслаждение: живой зверь, ещё и такой ласковый.

К сожалению, старик мирно опочил во сне буквально через несколько месяцев. Но он прожил долгую жизнь. Наде-

юсь, его конец оказался не самым худшим. А виверна хорошо прижилась. Когда она только вылупилась, размером была не больше индюшки. Сначала я кормил её кроликами, потом – живыми ягнятами, она быстро росла. Вскоре стала высотой с лошадь, а длиной, я думаю, в две лошади. Даже, наверное, подлиннее – за счёт хвоста. Молоденькие вампиры любили играть с ней в догонялки.

Потом я держал её на цепи в оружейной зале, иногда выводил полетать недалеко от дворца – Лапочка возвращалась по зову Дара. Я всё мечтал приучить её возить меня на себе, но ей, видно, тяжело было летать с грузом, так что пришлось оставить забавную затею. Она у меня стала сторожевым животным: уезжая из столицы, отпускал бегать по моим покоям, благо коридоры широкие и высокие. И был совершенно спокоен: охраняла она безупречно.

А обгорелые трупы доедала... ну, они и в диких горах так охотятся. Причём умница не трогала моих поднятых мертвецов, которые за ней присматривали. Хотя, может, старые движущиеся трупы просто казались ей невкусными.

Примерно в это время я обзавёлся любовницей.



В Розовый Дворец, где жила моя жена, я заезжал редко. Вроде бы надо было её навещать, но часто – не было сил. Мы с Розамундой переписывались.

Я ей писал: «Возлюбленная государыня, сердечно сожалею, что не могу видеть ваше прекрасное лицо. Увы, государственные дела отнимают всё моё время. Проводя бесконечные дни в тоске по вашей несравненной красоте, я проклиная расстояние, которое нас разделяет». И она мне отвечала: «Возлюбленный государь и супруг, сожалею о вашей занятости. Провожу все дни в печали, которую скрашивает мне лишь забота о вашем сыне и наследнике. С нетерпением жду новых вестей». И любой, кто прочёл бы наши письма, решил бы, что мы жить друг без друга не можем.

И это очень забавно, потому что мне в сочинении всей этой красоты помогали вампиры, а Розамунда, видимо, списывала всякие нежности со своих любимых романов. Сейчас я сам не очень хорошо понимаю, для чего было блюсти все эти приличия... тогда казалось, что в них есть какой-то смысл.

Как в дипломатической почте, отправляемой в государство, где тебя терпеть не могут. Чтобы не давать лишних поводов для стычек на границе. Ну да эта почта и полезна ровно настолько же: объявить войну любезные письма противника не помешают.

А от личных бесед я увиливал как мог. Но если вдруг всё же мне удавалось заставить себя приехать, Розамунда встречала меня так холодно, что вампиры казались сплошным огнём по сравнению с ней. И говорила:

– Весьма огорчена, что отрываю вас от дел, государь.

– Я хотел бы взглянуть на сына, – говорил я.

И какая-нибудь фрейлина приводила дитя в локонах и расшитом платице, а дитя смотрело на меня перепуганными глазёнками и пряталось за няньку. И мне в очередной раз становилось тошно.

А Розамунда говорила:

– Он немного застенчив, государь.

И я смотрел в её эльфийское лицо и действительно подышал от тоски. Я совершенно не мог с ней долго разговаривать. И поскольку меня никто не заставлял делить с ней постель, я уезжал ещё до вечера.

Мне было бы невыносимо остаться с Розамундой наедине. Но... она ещё болела где-то внутри меня, Розамунда.

Я не мог шляться по непотребным девкам. Наверное, я не блудлив по натуре. А может, какую-то часть меня просто ужасала мысль, что девка тоже может на меня так посмотреть: с отвращением.

А девка ведь не Розамунда, думал я. Девку я, наверное, просто убью. А убивать женщин мне претит.

И вот, когда я жил в столице, жизнь шла своим чередом. Я принимал вассалов и посвящал в рыцари. Я возглавлял Советы. Мне представляли дочерей и невест, и я утверждал титулы. Я не охотился и не давал балов, – не любил, и не было времени и лишних денег, – но я не мог отменить приёмы.

Никто из дворян никогда не пересекал границы моих личных покоев без крайней необходимости и жёсткого приказа.



Оттуда несло мертвечиной, и ещё там жила виверна. К тому же в сумерки там можно было легко встретиться с вампиром, который пришёл ко мне в гости. Неизвестно, кого боялись больше. Мой дом уже стал моей крепостью в высшей степени. Камергер постепенно по привычке, но недостаточно для моего настоящего удобства. Его люди старались успеть всё прибрать во время развода караулов – чтобы, не дай Бог, не встретиться с мертвецами. Я сам одевался и раздевался и обедал в одиночестве. Иногда меня это угнетало, иногда – радовало, но так уж установился постоянный, привычный порядок вещей.

Поэтому меня до глубины души поразило появление девушки в моём кабинете. Вечером. В сопровождении мёртвого стражника, проинструктированного незваных не убивать, а провожать ко мне.

Беатриса... Да...

Беатриса Розамунду ничем не напоминала. Совсем. Помню её точно-точно. Как цветная миниатюра на душе – явленная картинка.

Такая пышка. Очень яркая: мак, например, вспоминается или апельсин – такое она производила впечатление. Глаза чёрные, лицо цвета топлёных сливок с ярким румянцем. Губы – малина после дождя. Мелкие тёмные кудряшки, не причёска, а просто кудряшки повсюду: по вискам, по шее, по плечам, по груди... И круглую грудь цвета топлёных сливок она приоткрывала очень низко.

И очень маленькие, очень белые, очень острые зубки. С крохотными клычками. У ласки бывают такие. И ямочки на щеках. И взгляд смелый и прямой. Она стояла рядом с моим стражем-трупом и улыбалась. Это потрясающе выглядело.

Она стояла и дышала так, как другие танцуют.

Я сказал:

– Вы – Беатриса, если я не путаю. Вам шестнадцать, ваш отец владеет землями за Серебряным Долом, и я не понимаю, что вы здесь делаете.

Тогда она облизнула губы так, чтобы я посмотрел на них. И сказала:

– Я желала видеть вас наедине, ваше величество.

Мне было так странно... Если бы она обманывала меня... если бы у неё оказалась тайная цель, она хотела бы меня убить или подать прошение... но ведь она думала не об этом. Я видел. Она не боялась. Её бросало в жар от собственных мыслей.

– Вы хотели меня видеть, Беатриса, – говорю, – затем, о чём я думаю?

Она опять облизалась, как кошка на сметану. И глаза у неё светились морионами перед свечой. А потом она кивнула, взяла кончик шнурка, которым стягивался корсаж, и медленно за этот кончик потянула.

Я не дал ей дорасшнуровываться. Это не имело особого значения в тот момент. Значение имела юбка, а не корсаж – и всё. Мешала только юбка. Боже милосердный, ножки цвета

топлёных сливок – в ворохе кружев...

И в первые две минуты я решил, что Беатриса влюблена в меня до беспамятства. Ей ужасно хотелось заполнить всё, что только возможно. Я отпустил поводья. Совсем. Как никогда.

Я не думал, как бы не причинить ей боли. Я не думал, что делать дальше. Я вообще ни о чём не думал. Это блаженное бездумье чем-то напоминало выплеск вампирской Силы... если бы не совершенное изнеможение к утру.

Будто она пила из меня каким-то своим образом. Мне этого хотелось, как человеку хочется вампирского зова – хотя Дар и подсказывал, что это небезопасные игры.

Правда, на Дар мне сейчас было плевать. Меня так утомили одиночество, холод и окружающая ненависть, что я вполне созрел рискнуть Даром ради тепла. Обычного живого тепла. Я – человек – её хотел. Всё.

Чистая, как слеза, похоть.

Мы ни о чём не разговаривали. Беатриса ушла на рассвете, укутавшись в плащ с капюшоном, но обещала вернуться завтра. Она оставила пятно своей крови на моих простынях, но я не чувствовал ровно ничего похожего на вину.

Я просто содрал простыни и швырнул в угол.

Но целый день думал о Беатрисе.



Мертвец встречал её, когда шла первая четверть первого часа ночи. Ей нравилось, когда я присылал за ней труп. Я думал, что она упивается собственной храбростью. Так вот, мертвец провожал её до моей спальни. А в спальне мы пили глинтвейн и ласкали друг друга.

Почти до рассвета. Всегда – при свечах.

Беатриса разглядывала меня так жадно, будто хотела съесть глазами. Втянуть в себя. Рубец от вырезанной стрелы, разные лопатки, шрамы на руках – так облизывала взглядом, прикосновениями и языком... В жизни на меня никто так не смотрел. Я её не понимал, а она не объясняла.

Мы не разговаривали.

Я догадался только, что дело не в короне на моей голове. Мне хотелось бы спросить у неё, почему она тогда так ведёт себя, чем я сподобился, если не этим, но у меня всё время был занят рот: её губами, её грудью, её пальцами. Спросить не выходило. У меня не выходило даже спросить её, почему я не могу оставить её при себе. Почему она уходит перед рассветом.

Почему, прах побери, я не могу оставить при себе женщину, которую взял себе?!

Но, несмотря на всю эту тёплую истому, я никогда не засыпал при Беатрисе. Дар мне не давал, горел во мне, как сигнальный костёр – я в сон, как в яму, проваливался, когда она уходила, но при ней заснуть не мог. И потом, днём, думал: почему так?

Какая часть меня её не принимает? И чем она не нравится Дару? Он легче принял даже Розамунду!

Мне ужасно не нравилось ощущение теряющихся сил. Но я не мог от этого отказаться, как пьяница – от кубка. Помому, это не имело ничего общего с любовью. Это было что-то среднее между опьянением, безумием и вампирским зовом.

Хотя вампиры казались чем-то чище. Или просто – смерть чище похоти?

Но всё равно, всё равно это было блаженно. Беатриса лечила меня от отвращения к себе, от вины, стыда, этого клубка змей под рёбрами. Это было настолько блаженно, что я не хотел ни о чём думать. Если она хочет, чтобы было так – пусть будет так, как она хочет.

Я пытался дарить ей подарки. Она смеялась и не брала. Я надел ей на шею ожерелье с тёмными гранатами, горящими кровавыми огоньками из чашечек серебряных цветов, – она ласкала меня в этом ожерелье и, убегая утром, оставила его на подушке.

Не хотела показать кому-то? Не хотела нести домой подарки некроманта? Я не знал, она не говорила.

Это длилось и длилось. Я запустил дела. У меня не осталось ни сил, ни желания возиться с государственной тягомотиной. Я обленился или заболел, не знаю.

Бернард порывался разговаривать со мной о делах и семействе Беатрисы, но я его останавливал. Мне не хотелось, не хотелось ничего слышать. Оскар почти не появлялся у ме-

ня, я чуть ли не забыл его – а появившись, он сказал:

– Покорнейше прошу простить меня, мой прекрасный государь, я бесцеремонная нежить, сующая нос в дела живых, что достойно всяческого порицания... но если бы я не был уверен, что ваша очаровательная возлюбленная – смертная женщина... я бы осмелился предположить, что она суккуб.

Беатриса-то – суккуб?! Демон, питающийся похотью?! Тварь, не менее, на мой взгляд, гадкая, чем упырь. Я бы не взял такое на службу, а уж тем более...

– Это глупости, Оскар, – сказал я в ответ. – Она человек. Я ручаюсь.

– Тогда, если бы меня не терзал страх оскорбить вас, дорогой государь, – сказал он, – я крамольно предположил бы, что существуют люди с сущностью суккубов.

И я чуть не рывкнул на Оскара. На своего товарища, наставника, советника – из-за этой одержимости. Хорошо, что удержался... но Оскар понял и ушёл. Он долго не навещал меня после этого.

А я днём думал о ночи... Не знаю, к чему бы это пришло в конце концов, но, похоже, Дар меня спас. Или не Дар. Но мало-помалу опьянение пошло на убыль.

А может, я насытился Беатрисой. Во всяком случае, я почувствовал себя в силах разговаривать. И как мне показалось, Беатриса тоже.

– Нам не мешало бы узнать друг друга получше, государь, – сказала она в одну прекрасную ночь.

– Не мешало бы, – говорю.

Она лизнула меня в щёку – длинно, как кошка, и посмотрела на меня втягивающим взглядом. Помолчала, будто не решалась. И спросила:

– Ты правда спал с юношей, Дольф?

– Да, – говорю. Не видел смысла отрицать. С батюшкиной подачи все придворные только об этом и болтали.

У неё глаза загорелись.

– И каково это? – спрашивает. И облизывает губы, по своему обыкновению. – Расскажи, государь!

– Нет, – говорю. Как бы я ей рассказал? Что?

На секунду она пришла в ярость. На секунду. Но взяла себя в руки. И капризно спросила:

– Тебе жаль доставить мне удовольствие?

Тогда я сел. И она села и закрылась одеялом. И лицо у неё изменилось. Дар снова начал меня жечь, да так, что мне стало почти страшно. А она сказала:

– А ты любишь мёртвых, потому что твоего любовника убили у тебя на глазах? Да? Теперь мёртвые женщины лучше живых, Дольф?

И тут мне стало холодно. Дико холодно. Грел только Дар. Я ещё попытался сделать вид, что ничего не понимаю, но я уже понял. Я хотел солгать себе – чтобы не лишиться её.

– Мёртвые женщины, – говорю, – очень хороши для переноски тяжестей. А ты слишком прислушиваешься к сплетням.

Она усмехнулась. Потянулась. Сказала:

– Можно тебя попросить... кое о чём?

– Попросить можно, – говорю.

– Подними девицу.

Я ещё не до конца понял. Только плечами пожал:

– Ни к чему.

Беатриса посмотрела зло. Сказала с нажимом:

– Подними. Дольф, ты можешь сделать что-нибудь для меня? Я хочу посмотреть. Что ж такого? Просто хочу... посмотреть... тебе же всё равно... я хотела сказать – мёртвые не стыдятся? – и не выдержала, снова облизала губы.

И глаза у неё горели обычным огоньком предвкушения. Она поняла, что я не рвусь ей обещать, и улыбнулась как-то плотоядно, как ласка.

– А, – говорит, – Дольф, ах, какие же они все идиоты. Гвардейцы, конечно. Ты же любишь и мужчин, верно? Это ещё интереснее... возьми того, у двери?

Вот в этот момент я понял уже окончательно, сколько заплатил Той Самой Стороне за последнее время. Не меньше, чем обычно. А может быть, и побольше.

Дар внутри меня поднялся стеной огня. Я едва успел от-вернуться. И сказал:

– Беатриса, если хочешь жить, уходи. Чем быстрее, тем лучше.

Наверное, это прозвучало достаточно серьёзно. Потому что она собралась вдесятеро быстрее, чем обычно. И убегая,



ещё успела обернуться и шепнуть:

– Ты это вспомнишь, Дольф.



Помню, бархатная ночь была. Август. Светлячки летали в этом синем, чёрном, бархатном – тёплые звёздочки. И луна сошла на три четверти. И из окна пахло сеном.

Клевером и сеном...

И остаток этой бархатной ночи стал для меня такой длинной, изощрённой пыткой...

Я сидел на постели, нагишом. Свечи горели, и я видел своё отражение в зеркале, в том самом, через которое ко мне Оскар приходил, если хотел разбудить среди ночи. При свечах почти все люди кажутся красивыми, кроме меня. Я смотрел на себя – и этот двойник казался мне отвратительнее, чем обычно, и именно потому что...

И никого не было. Ни одной живой души вокруг не было, ни одного мёртвого с душой... Мне невероятно хотелось позвать Оскара, сердечного друга, и надрезать для него запястье, но я же не мог ему в глаза смотреть со стыда. И от дикой тоски я окликнул Бернарда.

И когда он вышел из стены, я сказал, что хочу услышать всё. Бернард необидчив, он обрадовался.

– Не так чтобы уж очень-то и много, драгоценный государь, – говорит. – А только не мешает вам знать, что у ней, у

Беатрисы, жених готовый, барон Квентин. И помолвка у них уж справлена, аккурат на Симеона-Лучника. То есть вы, ваше прекрасное величество, до помолвки как раз с неделю с нею уж забавлялись. А свадьбица у них, стало быть, на Антония-Схимника назначена.

– Здорово, – говорю. – Что-то я не помню этого Квентина.

– Ну что вы, – говорит, – ваше золотое величество! Как же можно не помнить! Молодчик такой, глазки синенькие, как у котёночка, личико чистенькое, в семействе старший, добрый мальчик. Где бы ему с мечом – а он всё с молитвенником, смиренный, в Беатрису уж года три влюбившись. Ещё ваш папенька бал давал – так Квентин всё её сахарненькую ручку держал да в глазки заглядывал. У Беатрисы-то поклонников видимо-невидимо, оно и понятно: она барышня из себя сплошная карамелька, да только её батюшка ей самого благодетельного мальчика во всей столице изволили выбрать.

– Ясно, – говорю.

– С дуэньей, – говорит, – только батюшка ошибся. Известная шельма. Она, стало быть, Беатрису по ночам и выпускает, а к утру впускает – и всё через сад да лакейским ходом. Хитры, как бестии: никто из домашних по сей день не знает, где барышня по ночам гостит и что потеряла. Батюшка-то, почитай, до сих пор думает, что Беатриса чище голубки, святей целованного клинка...

– Спасибо, – говорю. – Я примерно так и думал.

После разговора меня как будто немного отпустило, и я

лёг спать. А постель пахла Беатрисой – мёдом, корицей... и мне снилась её грудь в отсветах свечей и кудряшки, кудряшки...

А потом я проснулся и меня вырвало.



Потом я работал, как в поле. Я приводил в порядок дела, я поднял все заброшенные документы, я собрал отложенный Совет. Я чуть ли не сутки подряд проверял отчёты о доходах из провинций. И съездил в приграничный гарнизон посмотреть на рекрутов.

Всё потихоньку налаживалось. Мне опять снились кошмары, но я уже знал, что это вскоре пройдёт. Разве что Беатриса успела меня приучить к потворству некоторым вещам...

Прежний аскетизм тяжело возвращался. И слишком хотелось смотреть на красивые лица. И слишком много думалось... как в детстве, на башне, с трактатом в подробных гравюрах.

Я оттаял. А в замороженном виде мне было легче.

Правда, собственная слабость, как всегда, вызывала отвращение и злость на себя. А злость, как всегда, шла Дару на пользу. Я мало-помалу выздоравливал.

Примерно через неделю после... ну, после разговора с Бернардом я вечером собирался на кладбище за свежими гвардейцами. Идиотов, убивающих друг друга на поединках,

в столице и предместьях полно, а запрет Святого Ордена на кремацию трупов ещё больше всё упрощает. Я взял двух мертвецов, обычную свиту по ночам, и пошёл было, но просто-таки в дверях приёмной наткнулся на Оскара.

Я ему ужасно обрадовался. Я думал, что Оскар ещё обижен, но при виде него у меня отлегло от сердца. Я сказал:

– Оскар, дружище, доброй ночи! Хотите выпить? Вина, крови – и поговорим?

А вампир чуть нахмурился, и встряхнул головой, и молвил с загадочной миной:

– Мой дорогой государь, если вы позволите, я предпочёл бы лишь беседу, без крови и вина, хотя, безусловно, мне очень льстит ваше приглашение.

– Что случилось? – спрашиваю.

– Это, без малейшего сомнения, не моё дело, – отвечает, – но если вы будете так беспрецедентно милостивы к вашему ничтожному слуге с его вечными пустяками и глупостями...

Я губу прокусил до крови, но Оскар на эту капельку так заинтересовано посмотрел, что я чуть не прыснул. Я понял, что он меня давно простил, просто по обыкновению держит фасон.

– Я дам вам крови, Князь, – говорю. – Больше. Обязательно. И говорите без церемоний. Я в полном порядке.

Оскар улыбнулся.

– С вашего милосерднейшего позволения, – говорит, – нынче ночью я желал бы присоединиться к вашей свите,

несмотря на некоторую неприязнь к несвежему мясу. Дело в том, мой дорогой государь, что у кладбища вас ожидают молодые люди, вооружённые серебряным оружием. Я совершенно случайно увидел их, проходя мимо.

– Меня? – говорю. – Вот как...

– Они, – продолжает, – безусловно, отлично знают, что некромант в конце концов появится на кладбище. И они, как я полагаю, намерены нарушить данную вам присягу. Мне думается, что два трупа в этом случае – слабая защита. В компании, ожидающей вас, достаточно бойцов, чтобы отвлечь мёртвых от вашей особы, а внезапность лишит вас возможности применить Дар. Полагаю также, что они знают: трупы лягут, как только вы закроете глаза.

– Оскар, – говорю, – серебро – это нехорошо. Они могут ранить и вас.

– Без сомнения, – говорит, – я снова раздражаю вас, говоря необдуманно, и напрашиваюсь, как провинциальный барончик к своему сеньору, но мне на миг показалось, что со мной вам будет несколько проще выяснить у этих бесспорно добродетельных юношей, что побудило их изменить долгу.

И я понял, что он прав. Как обычно.

Я не стал брать ещё гвардейцев. В бою Оскар стоил бы десятерых мёртвых и двух десятков живых – если в его присутствии дело дойдёт до боя. Я пошёл той дорогой, которой ходил всегда, а Оскар растёкся длинной полосой тумана. Мы хотели застать их врасплох... что и вышло наилучшим об-

разом.

Они рассчитали хорошо – наверное, со священником советовались. Нацеленный на мёртвое, я легко мог пренебречь живым и подойти достаточно близко. К тому же сложно переключиться с ощущения подъёма трупов на ощущение прекращения жизни. В драке всё решают мгновения. Очень возможно, что тогда меня убили бы.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.